

## Глава 5

### В ведомстве землеустройства (1906–1914)

Около восьми лет лучшей поры моей служебной деятельности было отдано мною переселенческому делу, наиболее интересному и живому в ряду правительственных работ того времени.

Дело это было сосредоточено с 1906 года в ведении образованного из Министерства Земледелия Главного Управления Землеустройства и Земледелия, в состав которого было включено Переселенческое Управление, ранее представлявшее из себя орган министерства внутренних дел.

Когда мысленным взором бегло оглядываешься на те этапы, которые прошло это дело, как в области критической, в отношении к нему нашей публицистики, так и в области практической — правительственного отношения к нему, невольно мне всегда приходит в голову вульгарное сопоставление судеб его с моим фрактом. Как этот единственный парадный костюм мой на протяжении двадцати лет то попадал в особую честь у модников, то забраковывался ими как старомодный, так и в переселенческой нашей политике одни и те же принципы и явления признавались то прогрессивными, либеральными, то реакционными, в зависимости от модных лозунгов нашей оппозиционной мысли, в зависимости от тактики, а не объективного отношения к делу. Впрочем, то же самое можно сказать и относительно остро волновавших в свое время общественные правительственные круги других основных вопросов нашей сельской жизни: о земских начальниках и общине. Я сам читал в старых номерах 70-х годов серьезного прогрессивного органа печати «Голоса» горячие доводы против предрассудка, побуждавшего нашу власть слепо следовать теории Монтескье о разделении властей; газета ссылалась на английских мировых судей, как на пример целесообразности и экономного соединения судебных и административных функций. Та же газета через десять лет метала уже гром и молнии против введения института земских начальников, как грубо нарушающего именно общепризнанное в науке начало о недопустимости смешения упомянутых функций. Надо ли вспоминать, как защита крестьянской общины признавалась Л. 213. у нас то признаком славянофильской ретроградности, то

на наших глазах модным, либеральным лозунгом против так называемых «столыпинских» землеустроительных реформ.

Переселение крестьян в наши азиатские колонии долго встречало препятствие со стороны реакционных наших кругов, защищавших классовые интересы нашего крупного землевладения: боязнь помещиков остаться без дешевой рабочей силы делало их врагами свободного переселения. Право переселения было обставлено различными более или менее сложными формальностями и разрешениями. Наша прогрессивная печать справедливо негодовала на внесение в это великое государственное дело узких эгоистических стремлений одного сословия. В девяностых годах ко времени окончания предпринятой по инициативе Императора Александра III постройки величайшего в мире железнодорожного пути, соединившего в конечном итоге Европу с побережьем Тихого Океана, общегосударственные задачи начали побеждать частно- классовые, как это обычно бывало у нас при самодержавном строе, вопреки утверждениям, которые любят повторять наши утописты. Правила крестьянского переселения постепенно смягчались, и с 1904 года (если мне память не изменяет, я пишу ведь без всяких материалов — только по памяти) была установлена неизбежно полная свобода переселения в Сибирь для лиц сельского состояния; требовалось только, по соображениям осмотрительности, ознакомиться предварительно с земельным участком лично или через групповых представителей — так называемых ходоков. Кроме того разными, большей частью административно-полицейскими правилами, регулировались очереди отправки переселенцев из разных губерний Европейской России, во избежании массового скопления переселяющихся на железных дорогах и т. п. Само собою разумеется, что свобода переселения обуславливала широкое усиление работ по размежеванию земельных участков, ускорению землеустройства местного инородческого и старожилого населения, по ряду вспомогательных работ: гидротехнических, агрономических, ботанических и почвенных обследований, дорожных, наконец, даже по постройке школ, церквей и организации продажи в кредит сельскохозяйственных орудий. Для осуществления таких работ требовался громадный кадр всякого рода специалистов. Понятно также, что при объявленной свободе переселения Л. 214. надо было широко распространять среди населения сведения об отводимых под заселение землях. Уже при мне, лично начальником Переселенческого Управления, было составлено, написанное простым и образным языком, объявление-листочек, сжато дававшее все главнейшие сведения, необходимые для лиц задумывающих переселение; объявление, напечатанное жирным шрифтом предупреждало о всех ожидающих переселенцев трудностях; кроме такого объявления, на основании литературных данных и подробных донесений с мест, составлялись справочные популярные книжки по каждому отдельному району заселения, массами рассылавшиеся в волости для продажи по дешевой цене. В книжках, помимо сведений о земле, климате, промыслах и т. п., содержались все главнейшие правила переселения и ряд справочных сведений с адресами правительственных учреждений, почтово-телеграфных контор,

расстояниях от станции до станции на железной дороге, реках и грунто-вых дорогах.

В первые же месяцы моей службы в Переселенческом Управлении я составил такую книжку по Забайкальской, Амурской и Приморской области.

И вот прежде всего именно эти ценные справочники, а ничто другое были использованы оппозицией в нашем новом законодательном учреждении, чтобы обрушиться на новую переселенческую политику правительства, пошедшую именно по пути, который еще недавно противопоставлялся реакционным классовым интересам. Какой-то кавказец, не помню его фамилии, потрясая листовкой-объявлением Глинки, гневно выкрикивал с кафедры Думы банальные фразы о том, как правительство наше, «желая оградить классовые интересы дворянства», торопится переселить мало-земельных крестьян в Сибирь и тем затормозить разрешение аграрного вопроса. Листовки, наши книжки, рассматривались исключительно, как реклама, как зазывание, сбивание с толку «бедного» крестьянина; жирно напечатанное предостережение об осторожности, о необходимости подумать, прежде чем решиться на переселение, игнорировалось, конечно, оппозицией и рабски вторившей ей нашей либеральной прессой. В жертву партийности, выброшенному оппозицией лозунгу раздачи помещичьих земель приносилось большой государственной важности дело заселения наших окраин. Наши специалисты, особенно грузины, Л. 215. отличались вообще крайним невежеством, но партия народной свободы не могла не понимать, какой вред приносит она государственному делу, дискредитируя в общественном мнении мероприятия по заселению русскими людьми наших окраин. Это было тем более непростительно, что вдумчивые представители партии, как и сам Г.В. Глинка, отлично знали, что в основе нашей переселенческой политики лежит не стремление устранить безземелье в губерниях Европейской России, а именно забота о заселении, главным образом, Сибири и Туркестана русскими людьми, почему в справочниках прямо подчеркивалась трудность быстрого, хорошего устройства на новых местах для лиц, не располагающих никаким запасом собственных средств. Безумная, не по существу дела, которое, как всякая человеческая работа, имела, конечно, свои недостатки, о чем скажу ниже, а чисто демагогическая формальная критика переселенческой политики, отбивала у нашей интеллигенции, без того чрезвычайно невежественной в отношении отечествознания, в особенности знания наших колоний, какое бы то ни было желание знакомиться с «казенными» трудами Переселенческого Управления. Между тем, его ученые партии изучили всю Сибирь в естественно-историческом отношении; или был издан атлас Азиатской России, который по художественности исполнения, руководимого известным профессором по истории искусств Праховым, и по его научному значению, составил бы предмет гордости любого европейского ученого общества. Хотя бы в этой, так сказать чисто ученой изыскательной области, несчастная наша оппозиция — этот идейный вождь нашей интеллигенции, сочла необходимым рекомендовать ей труды «казенного» ведомства. Нет, это было ниже ее достоинства, ее сокровенных намерений: похвалить за

что-нибудь царского министра — это значило бы отдалить от себя момент завоевания его портфеля. До большого нравственного ничтожества доводи людей политиканство!

Тот размах, который вполне естественно, а не в рекламном, конечно, порядке принимало переселенческое дело, требовал, чтобы оно возглавлялось смелым, порывистым русским человеком, и А.В. Кривошеин, этот с необыкновенным чутьем выбирать способных и талантливых людей чиновник, не мог ничего сделать более удачного, чем рекомендовать своим заместителем на должности начальника Л. 216. Переселенческого Управления Г.В. Глинку. Его энергия и его умению преодолевать препятствия мы были обязаны тем, что бюджет по колонизации Азиатской России, несмотря на невероятную скупость наших министров финансов, возрос за десятилетие, кажется, в пятнадцать раз, дойдя с 2 миллионов до 30 миллионов в год.

Здесь я подхожу к наиболее слабому или вернее просто слабому месту нашей переселенческой политики; оно обнаружилось уже после того, как первые две Государственные Думы, показавшие полную свою деловую импотенцию, были разогнаны; так говорю, ибо считаю, что проявление одного «гнева», включительно до юмористически-гневной поездки части разогнанных депутатов в Выборг, не может, конечно, почитаться деловой работой. Слабая сторона переселенческого дела составляла уже предмет критики, порою довольно резкой со стороны 3-ей Государственной Думы, критики, которая, надо сказать, встречала сочувствие со стороны большинства самих переселенческих чиновников, являвшихся в лице их старших представителей лишь козлами отпущения за общие грехи Правительства, что было неизбежно при единстве кабинета министров.

Энергия переселенческого ведомства в развитии им специально дела переселения крестьян не находилась в соответствии в работой и взглядами других ведомств, особенно финансового и путей сообщения, без участия которых не могла идти правильным путем колонизация азиатских наших владений.

Несчастливая наша централизация и плохое вообще понимание окраинных условий порождали ничем не оправдываемый взгляд на Сибирь, степные области, Туркестан, как на обычные Российские губернии. Понятие «колония» и нашему правительству, и нашему обществу было чуждо, если не считать наивных украинофильских увлечений в Сибири, о которых я уже упоминал выше. Хотя наши азиатские владения и по отдаленности их, и по своеобразию местных условий, и, в особенности, по пространству их ничем не отличались от колоний крупнейших западно-европейских держав, у нас они управлялись не вице-королями, а в лучшем случае генерал-губернаторами с совершенно призрачной самостоятельностью от центра; их особые права в сущности сводились к мелочам чисто полицейского характера, которыми они только и отличались Л. 217. от обыкновенной губернаторской власти. Что касается губернаторов, то это были, фактически чиновники Министерства внутренних дел. При этом, как раз в окраинные наши губернии, где не было должного общественного контроля, в виде выборных земских и дворянских учреждений, назначались наименее

опытные администраторы, преимущественно военные; перевод в Европейскую Россию считался повышением, в то время, как в деловом отношении, в смысле разнообразия и ответственного значения действительно крупных культурно-колониационных задач, губернаторство в Забайкалье или Приамурье, например, требовало гораздо большей инициативы, знаний и опыта, чем где-нибудь в Москве, Киеве и т. п. Во время одной из моих поездок по Сибири я дал, в письме на имя Г.В. Глинки, подробную характеристику нашей дальневосточной губернской администрации; о некоторых из губернаторов я выразился так резко, что, когда Глинка прочел мое письмо нашему министру Кривошеину, последний отказался передать его Столыпину, посоветовав Глинке самому это сделать при удобном случае. Столыпин на моем письме сделал надпись: «к сожалению, он прав», но система выбора военных губернаторов осталась прежняя.

То же отношение к нашим колониям отражалось и на деятельности центральных ведомств. Интересы Европы преобладали над Азиатскими. В то время, как железнодорожные вопросы легко проходили, поскольку они касались наших западных границ, особенно по стратегическим соображениям, громадная наша колония Сибирь оставалась при одной колее. Если экономическое влияние магистрали распространяется на 100–150 верст от нее, то легко понять, что усиленный прилив хлебопашцев в Сибирь требовал одновременно подъездных путей и параллельной даже магистрали для южной Сибири. Между тем, только в 1913 году появилась одна ветка Тобольск-Омск и с громадными трениями было дано разрешение на проведение южной магистрали от Туркестана на Алтай. Переселенческое Управление выполняло свои колониационные задачи, другие ведомства отставали от них и настало время, когда избыток хлеба оставался на местах у крестьян; его экспорт по отдаленности железнодорожной магистрали, был не выгоден.

Я не буду говорить подробно о нелепостях нашей тарифной политики в отношении окраин, о недостатках средств, отпускавшихся на водные и грунтовые сообщения, почему в сущности единственным строителем дорог в Сибири являлось Переселенческое Управление специально для крестьян-переселенцев, а не в интересах, конечно, сколько-нибудь крупной промышленности и т. п. Несколько слов по этому поводу мне придется сказать при описании мною работ в Амурской Экспедиции. Теперь же мне важно только отметить, что в России не было, одним словом, специального ведомства колоний, существовавшего во всех крупных государствах Европы, а потому и не было с надлежащей государственностью и полной продуманного колониационного плана, а было только переселение крестьян, имевшее, несомненно, первостепенное культурно-экономическое значение для наших азиатских владений, но являющееся лишь одной стороной всякой колонизации, требующей одновременно и торгово-промышленных мероприятий. Переселенческому Управлению приходилось по собственной инициативе и собственными силами корректировать одностороннее направление работы, вводя в круг ее отвод земельных участков под поселения городского типа и под бессословное промысловое использование.

Под крестьянские чисто земельные участки отводилось до 15 десятин удобной земли на каждую душу м.п., а в Приамурском крае, до издания новых правил, даже по сто десятин на каждую семью. 15-ти десятинная норма понижалась, конечно, там, где качество земли было особенно высоко, например, в Алтайском округе, в котором покойный император Николай II уступил под переселение крестьян громадные земельные пространства из личной собственности Царя за ничтожную сумму (10 и 20 коп. с десятины, дабы не создавать прецедента безвозмездного отчуждения частновладельческой земли), земли были таковы, что 8–10 десятин на душу признавалось вполне достаточными для обеспечения хозяйственного благополучия переселенцев. Один сельский сход, узнав, что ходоки его деревни отказались от зачисления земли в Алтайском Округе в виду уменьшения в нем душевого надела с 15 до 8 десятин так был огорчен нераспорядительностью ходоков, что постановил выпороть их, когда они вернулись в Л. 219. свою деревню из Сибири. Под промысловые участки отводилось от нескольких сот квадратных сажен до нескольких десятков десятин, в зависимости от рода хозяйства.

Меры по отводу таких участков развивались сравнительно медленно. Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что большую роль в этом отношении играли народнические тенденции. Начальник Переселенческого Управления, который, может быть, и без умысла каждую пядь земли берег для крестьянства и прямо ликовал, когда Царь щедро уступил свои земли под переселение. Глинка, по моему мнению, не мог быть, по свойствам его увлекающегося характера объективен там, где дело касалось «мужичков», этой «соли земли русской» в его представлении. Без сомнения, в известной степени он был прав, но высшие задачи государства требовали, по моему мнению, иных взглядов.

Когда я пытаюсь объяснить себе почему наше правительство там упорно придерживалось каких-то кустарных приемов в отношении богатейших колоний России, я думаю, что и правительство, и наше общество находились всегда под гипнозом целостности территории Российской Империи; было странно признавать колонией те части ее, которые соединены со столицами сплошным железнодорожным путем, а не отделены от метрополии морями, подобно английским, германским и французским колониям.

Итак, поскольку дело касалось собственно свободного развития крестьянского переселения, трудно было найти более подходящего, скажу прямо талантливого, проникнутого горячей любовью к русскому земледельцу и верой в его творческие силы, исполнителя, чем Г.В. Глинка; его руководство переселенческим ведомством составило самую блестящую страницу в этом деле. Но поскольку Г.В. приходилось сталкиваться с теми затруднениями, которые проистекали от общего дефекта нашей колонизационной политики, он мне кажется, разбирался в них слабо, слишком примитивно, приписывая некоторые неудачи только скаредности нашего финансового ведомства. Препятствия и неудачи, при горячности характера Глинки, приводили его в раздраженное состояние; с годами он делался таким же вспыльчивым крикуном, каким был покойный Савич,



каким сделался и Б.Е. Иваницкий. Одним словом, и третий Л. 220. мой начальник, по отсутствию выдержки в русских людях, школы, так сказать, самообладания, был тяжел в служебных отношениях, то, что называется капризен. Все это, в конце концов, не могло не отразиться на моем собственном, от природы чрезвычайно хладнокровном характере. Разговоры в повышенном тоне с начальством сделались для меня обычным явлением. К чести Глинки должен сказать, что им всегда допускался обоюдный громкий разговор — это был горячий, порою грубый, но всегда товарищеский спор, а не разнос начальником подчиненного. Поэтому почти все сослуживцы по Переселенческому Управлению, действительно, горячо были привязаны к своему начальнику; им гордились и его любили, а слабости прощались.

Для характеристики моих отношений с Глинкой приведу несколько случаев, дающих представление о бытовой стороне моей новой службы и душевных свойствах Глинки.

Как-то, в состоянии раздражения, я на переданную мне просьбу одного генерал-губернатора ответил говорившему со мной по телефону чиновнику особых поручений при этом генерал-губернаторе, что я не могу быть исполнителем всяких глупостей, что вчера о том же меня просил мой прямой начальник Глинка и то я не исполнил его просьбы. Дело шло о даче какой-то служебной справки в таком направлении, которого я совершенно не разделял. Чиновник особых поручений немедленно передал содержание нашего разговора и генерал-губернатору, и Глинке. Я был приглашен в кабинет последнего и он мне прямо и просто поставил вопрос: «Б. передал мне, что вы называли ему меня дураком; это правда?» «Да», отвечал я и повторил содержание нашего разговора. «Как же это так?» Я объяснил, что разговор наш происходил частным образом, что в припадке раздражения и сам Глинка величает иногда министра дураком. «Да, это верно», уже смеясь, заметил Глинка, «но все таки какая же сволочь Б.»; последний очень был потом сконфужен, тем более, что он, без сомнения, не имел намерения мне вредить, а действовал тоже сгоряча.

Когда мне не доплатили за одну командировку сто рублей, я, обидевшись по «принципиальным соображениям», усматривая в этом произвол, опротестовал Глинке его распоряжение; в конце концов между нами завязалась пикировка, закончившаяся телеграммой мне Г. (я был тогда в Чите): «ваше обращение нахожу служебно недопустимым, товарищеском отношении не корректным». Я решил подавать в отставку. Когда я прибыл в Петербург, меня на вокзале встретил радостный и ласковый Глинка; несмотря на мое желание ехать домой, чтобы привести себя в порядок, он почти насильно повез меня прямо в Управление; здесь почему-то представлял мне всех давно знакомых сослуживцев, а когда я вошел в свое Отделение, то Глинка сделал какой-то жест рукой в соседнюю счетную часть и оттуда появился начальник ее и торжественно на каком-то блюде поднес мне пакет; я вскрыл его и там оказались сто рублей. Я был хорошо унижен перед всеми сослуживцами, но Глинка так добродушно и радостно смеялся, что мне ничего не оставалось, как расцеловаться с ним.

Бывало на службе произойдет злобная перепалка, выслушаешь и говоришь много колкостей, а вечером дома слушаешь пение Глинки и все забывается; у него был небольшой баритональный голос, но манера его петь, тембр голоса и музыкальная дикция были таковы, что большего удовольствия от камерного пения я никогда не получал; особенно я любил его собственный романс «Огонек» на слова Апухтина «Заперты ставни, забиты ворота; где же ты светишь и греешь кого ты, мой огонек дорогой?!» Когда он пел эту фразу, мой один сослуживец и друг Глинки, после обычной стычки говорил мне: «вот ненавижу прямо его порою, злуюсь, а запоет, подлец этакий, и плакать хочется». Глинка само себе аккомпанировал, играл все по слуху и, кажется, нот не знал; я никогда не слышал такого вдохновенного и сильного исполнения нашего национального гимна. Приверженный всей душой церкви, Глинка больше всего писал в области духовной музыки.

Кстати, заговорив о церкви, я не могу не вспомнить какое вообще значение придавал Глинка религии в жизни нашего крестьянства. Ему пришлось вести горячую борьбу за отпуск кредитов на постройку костелов в польских переселенческих деревнях. Он, до мозга Л. 222. костей православный человек, любивший и знавший православные обряды во всех их мелочах, чрезвычайно скептически относившийся ко всему не русскому и не православному, понимал своим сердцем верующего, как тяжело и опасно положение таких инославных, которые надолго будут лишены своих храмов. Наше духовенство, так же, как и католическое, уйдя в свои богословские споры забывало нередко о живой душе человека, о том, что Христос — главное, а остальное — второстепенное, и готово было бы иногда предпочесть полное отсутствие церкви постройке лишнего костела, как теперь поляки в изуверстве своем решат русские церкви, которые могли бы быть в Польше лучшим свидетелем культурной веротерпимости ее. Глинка был более чуток и так горячился в своих хлопотах за польские переселенческие церкви, что, когда дело увенчалось успехом, к нему на дом приехал католический митрополит благодарить его. Глинка много смеялся по поводу вопроса митрополита не католик ли он; так странен был для такого православного человека, как Глинка, этот вопрос. Но, очевидно, иначе психология Глинки для католического иерарха становилась совершенно недоступной: он, вероятно, не разрешал бы православным переселенцам постройки своих церквей.

В период «распутинских влияний» в столице, фамилию Глинки некоторые начали примешивать к личности этого негодяя. Действительно, как только на столичном горизонте появился «старец», Глинка поспешил его разыскать и познакомиться с ним; Распутин, как и ко всем знакомым, обращался к Глинке на «ты». НЕ пойти к «старцу» Глинка, по натуре своей религиозного народника, не мог; «старец — богоискатель из народа» — это ведь был идеал для Глинки.

Какое же деловое или протекционное влияние на Глинку имел Распутин, об этом я могу рассказать со слов очевидцев — моих сослуживцев.

Однажды в приемную Управления явился какой-то господин и, передавая с известной торжественностью письмо дежурному чиновнику, заявил:



«это от старца Григория начальнику Управления, доложите ему обо мне». Дежурил молодой «причисленный», который отличался не принятой у нас и очень не любимой Глинкой утрированной почтительностью при собеседовании с начальниками, титулованными особами и вообще важными лицами. Беря письмо, он всей своей фигурой изобразил полное почтение перед просителем и немедленно отправился с письмом Распутина к Глинке. «Простите», отрывисто сказал Глинка. Что происходило в кабинете Глинки неизвестно, но только проситель через минуту-две не вышел, а как-то вылетел, как будто бы под воздействием посторонней силы, из кабинета Глинки весь в поту, красный. Увидев любезного дежурного чиновника, он подошел к нему излить свою оскорбленную душу: «подумайте, письмо от такой особы и, вдруг, подобное обращение; кто бы мог ожидать!» Молодой чиновник, всегда и во всем считая правым начальство, на этот раз уже был чрезвычайно сух и холоден: «к тому, что угодно было сказать вам его превосходительству господину начальнику переселенческого управления я ничего от себя не могу добавить» — такой фразой, произнесенной с надлежащей важностью, напутствовал он совершенно растерявшегося просителя.

Глинка был человек глубокой религиозности, богоискатель, он тоже мог не разобраться сразу в грязной личности Распутина, но в отличие от тех монахов, которые позволили себе так неосмотрительно провести Распутина ко Двору, он был человек живой души, живого дела; его вера не была мертва. Поэтому для него «старец» мог быть предметом духовного интереса, но не способом придворной карьеры, тем менее средством личной эгоистической борьбы за религиозное влияние при Дворе.

Глинка, впрочем, органически не выносил протекционных давлений на него, особенно в сколько-нибудь грубой форме. Его подозрительность в этом отношении была так велика, что он несправедливо настраивался против лиц с большими связями. Так, он был как-то особенно умышленно груб с одним из моих молодых помощников — племянником весьма влиятельного в придворных сферах министра, только потому, что подозревал его в намерении использовать свою родственную связь; этот помощник возненавидел, кажется, Глинку и должен был оставить службу в нашем Управлении; впрочем, для меня в деловом отношении это не было большой потерей. Я не помню ни одного мало-мальски заметного назначения по переселенческому ведомству, во время управления им Глинкой, состоявшегося в порядке протекционном. Очень быструю карьеру проделал мой другой молодой помощник — лицеист Т., имевший какие-то родственные связи с высокими мира сего. Он в возрасте до 30 лет занимал уже ответственные должности на Дальнем Востоке и в Туркестане по нашему ведомству, а затем вернулся в столицу на сравнительно с его годами очень большое место помощника Переселенческого Управления. Злые языки обвиняли и его, и Глинку в использовании связей. Я находил неосторожным такое быстрое продвижение по службе молодого Т., не потому что сам был обойден при этом, но просто считая необходимым для известных должностей наличие надлежащего не только служебного, но и житей-

ского опыта. Однако, должен сказать, что, если бы не способности и умение работать, которые с первых же дней обнаружил Т., никакие его связи не могли бы побудить Глинку содействовать его быстрым служебным повышениям. Очевидно, в этом случае, как и в некоторых других, сказалась увлекающаяся натура Глинки, далеко не всегда имевшего силы оставаться на почве холодной справедливости. Как протекции, так Глинка не выносил и никаких громких, трескучих фраз, которыми любили рекомендоваться некоторые чиновники, добиваясь какого-нибудь назначения.

Я еле удерживался от смеха, будучи свидетелем в кабинете Глинки разговора с ним одного просителя, домогавшегося какого-нибудь назначения в Сибирь; Глинка старался выяснить деловой ценз просителя, а тот с типичными «интеллигентскими» манерами и шаблонными фразами говорил общие места о «святости долга» и т. п.; наконец, когда Глинка, постепенно раздражаясь, услышал от просителя, что он бы хотел быть «так сказать оком его превосходительства в Сибири», он окончательно вспылил, закричал, что ему шпионов не надо, что его чиновники на своих местах делают свое дело честно и т. п. проситель ушел от Глинки крайне недовольный, обиженный.

Особенно раздражали Глинку, так называемые, светские любезные дамы; среди них в столице была всегда какая-то постоянная группа любительниц посещать министров и других высокопоставленных лиц, у которых они своей праздной болтовней и мелкими, ненужными просьбами отнимали много времени в приемные часы, заставляя дольше ожидать приема серьезных просителей и чиновников. Глинка крестьян принимал, обычно, в первую очередь, во всяком случае Л. 225. раньше подобных «кумушек». Так как, увидя в приемной мужика, Глинка пускался с ним в бесконечные разговоры, с радостной пытливостью расспрашивая у него о всех мелочах деревенской жизни, дамы уже заранее злились на подобное «хамство». В кабинете у Глинки они старался быть внешне любезными, но долго не засиживались. «... мерсі, до свидания», лепечет бывало какая-нибудь из таких просительниц, а Глинка хмуро ее обрывает, провожая к дверям кабинета: «ну, мерсі — не знаю за что, а до свидания наверное».

Вспомнив о беседах Глинки с крестьянами, не могу не упомянуть, какое впечатление произвел на группу ходоков переселенцев молебн в Управлении, на который они случайно попали, придя к Глинке по делу. Когда диакон провозгласил сочиненное самим Глинкой многолетнее «переселившимся и переселиться хотящим» т. е. ходокам, видно было, как растроганы были крестьяне, что о благополучии их молятся в Петербурге.

Подобно своему знаменитому предку, Глинка был удивительно беспорядочен в частной его жизни, что особенно отражалось на внешнем его виде: всклокоченные волосы, хохлацкие усы вниз и обычно какой-то не столичного вида костюм. Я раз уговорил его сшить сюртук у дорогого портного, чтобы, по крайней мере, в заседание Думы являться в приличном виде; у старого его сюртука подкладка так износилась, что торчала из под него в виде какой-то бахромы. За сюртук было заплачено 120 рублей; такая цена очень огорчила и злила Глинку, тем более, что и новый сюртук

вскоре потерял свой фасон, и Глинка раздраженно говорил: «вот вам и дорогой портной, ерунда все это!» Как-то раз я пришел к Глинке после обеда; он прилег отдохнуть в своем кабинете на кушетке; вижу под головой его какой-то темный комок вместо подушки; это был новый модный сюртук. Тогда я понял причину столь быстрой потери им своего фасона.

Эта небрежность в частной жизни переходила и на служебные занятия Глинки, выражалась в рассеянности, опаздывании на доклад министру, разбрасывании бумаг по столам, карманам и т. п. За ним в этом отношении надо было внимательно и любовно следить. Любовно потому, что при желании повредить ему ближайшие его сотрудники Л. 226. всегда могли бы использовать его недисциплинированность. Надо было напомнить, что сейчас ему следует ехать туда-то, подписать такую-то бумагу; отыскать его по телефону, если он где-нибудь застрял, забыв о назначенном докладе министру; привести в порядок бумаги на столе, а иногда и обшарить карманы Глинки; разложить в известной системе переписку, предназначенную для доклада Министру и т. д.

Наиболее близкие к Глинке чиновники были идеальным в данном отношении его дополнением. Старший помощник его П.Н. Яхонтов, человек доброго сердца и высоких нравственных качеств, на службе был очень сух, формален, аккуратен. Он, горячо любя Глинку, оберегал его как нянька. Случалось нередко, что Глинка за кипой дел, вдруг прекратит чтение или подписывание бумаг, вспомнит про вчерашний вечер и начнет весело рассказывать, как вчера в Мариинском или другом театре «здорово» пел или пела такие-то и т. п. Яхонтов мягко остановит Глинку: «потом, потом расскажете нам, а пока вот надо то-то» и подсунет под руку Глинке какую-нибудь спешную бумагу. Секретари его М.Е. Сурин и В.Б. Ферингер были привязаны к Глинке, как в Земском Отделе к Савичу его секретари. Сурин заведовал многочисленным личным медицинским составом переселенческих больниц и проходных пунктов, а также особенно близким сердцу Глинки делом оборудования походных церквей; всякая заминка в этом деле приводила Глинку в ярость, на службе происходили жаркие перепалки его с Савичем, а после службы они искали свидания друг с другом, так как были сильно взаимно привязаны вообще, а в особенности пристрастием к пению, в частности родных хохлацких песен. Кстати сказать, оба они всегда зимой носили серые «смушковые» шапки; Плеве, встречая Глинку в такой шапке, которая очень шла к его красивым чертам лица, расспрашивал даже о нем, не мечтает ли, мол, Глинка о гетманстве. Добросовестнее Ферингера я, кажется, за всю мою жизнь не встречал чиновника; в его ведении находилась переписка о всем громадном личном составе местных учреждений переселенческого ведомства; он вел формуляры всех агентов, начиная с землемеров и кончая заведывающими областными районами, докладывал о желательных перемещениях, назначениях, следил, чтобы не пустовали различные вакансии, испрашивал Л. 227. пособия служащим и т. д., и т. д.; одним словом нес на себе тяжесть различных мелких, большей частью очень скучных и в карьерном отношении невыигрышных дел, без правильного хода которых, однако, не может правильно работать ни одна деловая

машина. Помимо служебной переписки Ф. вел еще громадную частную переписку со служащими по различным мелочам их службы; у него всегда под рукой был большой запас открыток и на каждый вопрос из далекой Сибири Ф. немедленно отвечал своему корреспонденту; поэтому его знали и любили почти все провинциальные работники, как мелкие, так и крупные. От массы работы и на дому, и в Управлении Ф. часто бывал раздражителем, вспыхив, отвечал порою резко и грубовато, но рассердиться на него нельзя было: уж слишком много активной доброты к человеку светилось в его славных немецких глазах. В лице Ф. Глинка имел вторую, после Яхонтова няньку-друга, сотрудника, так сказать, по мелочам службы. Пока Глинка был окружен ближайшим образом этими тремя, абсолютно чистыми душой помощниками, с которыми и у меня установились самые добрые отношения с первых дней моей работы в Переселенческом Управлении, я пользовался полным служебным доверием Глинки; впоследствии же, к сожалению, это отношение его ко мне изменилось отчасти, может быть, по моей собственной вине — невыдержанности моего характера, отчасти же потому, что другие советники Глинки были уже люди не «моего романа». Они были честные, вполне добросовестные, умные работники, но, как мне казалось, некоторые из них злоупотребляли в личных интересах некоторыми слабостями Глинки, особенно его впечатлительностью и способностью легко менять мнения о людях. Один из новых советчиков Глинки оказался, к глубокому нашему огорчению, неустойчив и в моральном отношении; наша среда благотворно на него действовала, ибо честность и бессеребряные проникали всю эту среду сверху до низу, но по выходе из нее, когда Россия ступила на путь потрясений, он не устоял и все свое внимание, всю свою работоспособность отдал стяжательству.

Я не останавливаюсь подробно, как в моих воспоминаниях о службе в Земском Отделе, на характеристике отдельных моих сослуживцев по переселенческому ведомству, чтобы не повторяться. Л. 228. Отличительной чертой большинства их была горячая любовь к родине и порученному им делу и абсолютная деловая честность. Из наиболее талантливых моих современников по службе в Переселенческом Управлении должен отметить И.И. Тхоржевского и Г.Ф. Чиркина: первый — изящный поэт, который в области официального языка сыграл такую же, примерно, роль, как Дорошевич в области фельетона.

Второй — Г.Ф. Чиркин дал очень много печатных работ по различным колонизационным районам.

Говоря об абсолютной честности переселенческого управления времени Глинки, я могу рассказать один характерный случай, иллюстрирующий наивный «романтизм» старорежимных чиновников, как говорят теперь некоторые современные дельцы, отзываясь о «чрезмерной» нравственной шепетильности. Типографские работы Управления исполнял обычно студент-еврей Вайсберг, имевший собственную типографию, унаследованную от отца. Помимо материальных соображений он, действительно, искренно был привязан к составу нашего Управления, привык к нему, любил даже Глинку, несмотря на нередкую грубость последнего, когда запаз-

дывала, хотя бы на один день какая-нибудь работа. Желая отблагодарить всех нас чем-нибудь за постоянные заказы ему, Вайсберг в день нового года разложил на столе каждого чиновника роскошно изданный иллюстрированный календарь. Такой подарок вызывал смущение среди чиновников, начались разговоры, не будет ли принятие дорогого календаря компрометировать нас, как взятка, и после совместного обсуждения решено было вернуть все календари Вайсбергу. Последний, зная наши нравы, не придал, конечно, сколько-нибудь плохого значения своему подарку и был огорчен чрезвычайно. Успокоить его удалось принятием всеми в подарок от него простенького карманного календарика, разъяснив ему, что для него и для нас важна память, внимание от него, а не стоимость календаря.

Кстати, в связи с этой, может быть, наивной, но все-таки хорошей историей, я припоминаю случай вымогательства от Вайсберга процентного вознаграждения за принятие исполненной им работы. Глинка, для оживления наших литературных трудов, решил взять на службу одного сотрудника какой-то большой московской газеты. Л. 229. Он составил справочную книжку для переселенцев, сдал ее печатать Вайсбергу и не принимал от него исполненной работы, пока тот не заплатил ему какой-то процент от стоимости работы. Смущенный Вайсберг пришел к нам в Управление советоваться с нами, как ему быть, не скомпрометирует ли такая необычная в нашем обиходе сделка Управление. Об этом от нас узнал Глинка, и, к счастью, представитель свободной профессии был изгнан из Управления, пробы в нем без всякой существенной пользы для дела менее двух месяцев.

В жизни провинциальных наших учреждений, в виду многочисленности и разношерстности их состава, случались, конечно, различные служебные злоупотребления, но и здесь они были сравнительно редки; масса работников, особенно землемеров и агрономов, работала идейно, часто была не благонадежна политически, справедливо и несправедливо будировала против центра, страдала утопической мечтательностью, как большинство средней провинциальной интеллигенции, но на службу не смотрела, как на средство наживы. О местных наших работниках я буду говорить ниже, здесь же только замечу, что всякое злоупотребление в нашем ведомстве чрезвычайно нервировало и удручало искренно весь состав нашего Управления, как одну семью. За время моей службы в центральном управлении был только один случай растраты, по легкомыслию, казенных денег, недолго служившим у нас кассиром. Когда еще не была выяснена точно сумма растраты, мы решили сложиться и пополнить растрату, чтобы не выносить сора из избы, при систематической враждебности к нам Думской оппозиции. Однако, впоследствии, растроченная сумма оказалась нам не по средствам, и дело было передано суду. В провинциальных наших учреждениях громкое, сравнительно, дело возникло о растрате довольно большой казенной суммы при постройке дорог в Иркутской губернии; в растрате оказался замешанным, совершенно неожиданно, руководитель переселенческим делом в этой губернии С. Он пользовался тем лучшей репутацией, что был очень дружен с нашим, абсолютно честным и преданным делу, ревизором землеотводных работ У., который не за долго перед

обнаружением растраты, ревизовал его и нашел все в полном порядке. Известие о растрате С., который запутался в Л. 230 силу несчастных личных обстоятельств, произвело такое впечатление на нашего ревизора, что он долго нервно болел, а от дрожания головы так и не излечился.

Кстати, говоря о служебных злоупотреблениях, я должен упомянуть, что и в первом учреждении по крестьянским делам, в котором я служил — Земском Отделе, не было за мое время ни одного случая взятки или растраты. Мой приятель Б. был уволен только за то, что в срок не отдал долг знакомому земскому начальнику; последний в чем-то попался, был привлечен к ответственности и в оправдательных своих объяснениях, между прочим, упомянул, что «вот, мол, Б., служа в делопроизводстве по ответственности земских начальников, должен ему 200 рублей; однако, этот факт сам по себе нельзя ведь рассматривать, как принятие взятки». На переписке по этому делу П.А. Столыпин, по поводу ссылки на Б., положил резолюцию: «Б. сам должен догадаться, что он теперь обязан сделать», и Б. подал в отставку.

Переселенческое Управление делилось на несколько отделений-делопроизводств, дела между которыми распределялись не по обычно принятой во всех департаментах системе в зависимости от рода их, но территориально, т. е. были следующие отделения: 1. Европейской России — дела по выселению; 2. по Д. Востоку и Кавказу; 3. по степным областям и Туркестану и 4. по губерниям Сибири. Кроме того были, конечно, специальные отделения: счетное, ревизорское, по складам и т. п. Во главе делопроизводств стояли чиновники особых поручений VI, а по выслуге более продолжительного срока и V класса, дававшего право на производство в «генеральский» гражданский чин.

Мне было поручено заведывание дальневосточными и кавказскими делами; последние давали сравнительно мало инициативной работы, так как с учреждением Кавказского Наместничества дело было в значительной степени децентрализовано; за Петербургом оставалось, главным образом, рассмотрение и обоснование перед законодательными учреждениями сметных предположений. Дальний же Восток потребовал большего изучения материалов и представлял возможность проявления широкой инициативы.

Заведывающим переселенческим делом в Приморской области Л. 231. был С.П. Шликевич, человек с большой инициативой, горячего темперамента, который приводил его порою к несправедливой оппозиции центральному ведомству. Он, как многие из наших провинциальных агентов, не считаясь с объективными условиями работы центрального Управления, с теми затруднениями, которые приходилось последнему преодолевать в Государственной Думе, задерживавшей утверждение смет на пол года и более. По закону, до утверждения сметы приходилось жить месячными отпусками кредитов в размере одной двенадцатой прошлогоднего бюджета; понятно, что никакое большое хозяйство, в особенности столь живое и многостороннее как переселенческое дело, не может идти правильно, раз финансовые средства на него переводятся не сразу в необходимой сумме, а небольшими частями, тем более, что потребность в том или ином расхо-



де не распределялась равномерно по отдельным месяцам; например, выдавать ссуды переселенцам нельзя было в течении всего года, а требовалось немедленно по приступе их к хозяйству на новом месте, также необходимо было сразу снабжать необходимым запасом средств межевых и других техников при самом отъезде их на полевые работы, нередко в весьма отдаленные от центров, глухие места. Задержка в кредитах не могла не нервировать местных руководителей делом, в особенности, когда истомленные долгим путем крестьяне начинали волноваться по поводу неполучения обещанной им денежной помощи на домообзаводство, грубили местным агентам, порою подозревая их в расхищении денег, назначенных на помощь переселенцам и т. п. Местные агенты, сами нервничая, склонны были обвинять свое центральное ведомство в недостатке энергии, в неумении ускорить отпуск кредитов, испросить их в размере достаточном для действительных потребностей дела. Кроме того, на нашем Дальнем Востоке назрел ряд вопросов государственно-колониационного значения, разрешение которых встречало препятствие в упомянутых мною выше общих условиях, в отсутствии широкого колониационного плана. В последнем отношении положение заведывающего Приморским районом переселения было особенно интересно и ответственно. Предшественниками Шликевича по этой должности были такие незаурядно-крупные деятели, как А.А. Риттих, будущий последний министр земледелия Империи, и Н.Л. Гондатти, впоследствии Приамурский Л. 232. генерал-губернатор. Но в их время для переселения землепашцев, притом в относительно весьма скромных размерах, было вполне достаточно удобных земельных пространств, а кроме того желтая опасность не вырисовывалась еще так ярко, как после Японской войны, когда пришлось работать Шликевичу. Глубокий патриот, он чрезвычайно горячился, что различные его широкие предположения тормозятся в Петербурге. В это самое время я вступил в заведывание дальневосточным отделением в центральном Управлении; ознакомился с имеющейся литературой о Дальнем Востоке, с трудами так называемых Хабаровских съездов, которые созывались местными генерал-губернаторами и имели значение настоящих местных земских соборов; опять-таки широкой публике эти труды, несмотря на все их прогрессивно-общественное и государственное значение, почти совершенно не были известны. Я изучил переселенческое законодательство времен мало оцененного русским обществом по незнанию и непониманию им наших колониационных задач, великого государственного деятеля гр. Муравьева-Амурского. Все эти материалы дополнялись живыми нетерепеливыми донесениями Шликевича. Передо мною открывался схематический план, которым необходимо руководствоваться нашему Правительству для освоения наших богатых дальневосточных окраин. О плане этом я буду говорить при описании работ Амурской Экспедиции, подведшей под него прочный, основанный на научных данных, фундамент. Разрабатывая схему плана, я чувствовал себя в начале весьма беспомощно и одиноко. Слишком завалено было наше Управление мелочами крестьянского переселения, чтобы могло уделить много внимания широким колониационным мероприятиям в отношении

одной нашей самой далекой окраины, а, главное, разработка и осуществление такого плана выходили за пределы одного землеустроительно-крестьянского ведомства; требовалось создание какого-то органа, объединяющего начинания различных ведомств. План касался и устранения таких стратегическо-кабинетных препятствий, которые чинились военным ведомством колонизации Приамурья, например, запрещением проводить дороги от побережья в глубь страны, и разрешения земельного казачьего и старожило-крестьянского вопроса, который получил, в искажение государственной мысли гр. Муравьева-Амурского, узко-классовое направление предоставления в пользование небольшой кучки людей громадных земельных и лесных пространств, наиболее удобно расположенных по береговой полосе Амура и Уссури, и устройства сети дорог, необходимых для оживления нашей промышленности, главным образом золотой и лесной, приведения в порядок подъездных водных путей, и пересмотра тарифов на рыбу, так составленных, что русская кета попадала в Петербург из Лондона и т. д.

Я приступил к разработке проекта об учреждении особого дальневосточного комитета. Глинка в общем сочувственно отнесся к этому моему начинанию, хотя и не очень долюбивал те общие вопросы, которые не имели прямого отношения к интересам крестьян, но в «сферах» против проекта было чрезвычайное предубеждение под забытым еще впечатлением от печальных результатов деятельности подобного комитета, приведшего к русско-японской войне. Мое упорство в этом деле привело к некоторым результатам: кн. Васильчиков, стоявший тогда во главе ведомства землеустройства и земледелия, получил принципиальное согласие Государя на разработку положения о предметах ведения постоянного совещания по делам Дальнего Востока, как решено было назвать этот орган, во избежание напоминания о печальной памяти комитете. Государь повелел даже кн. Васильчикову представить ему список лиц, наиболее подходящих к должности председателя в намеченном Совещании. Составить этот список, с деловой характеристикой каждого кандидата было поручено мне, с указанием, что в список не должен быть включен никто из деятелей прежнего комитета, в особенности же адмирал Алексеев, опозорившийся в Порт-Артуре. Я теперь не помню фамилии всех внесенных мною в список лиц; уверенно могу сказать только, что в него были включены ген. Куропаткин и Б.Е. Иваницкий; наиболее подробная и яркая справка была дана мною, по вполне естественным причинам, о последнем. Я указал на те преимущества его, которые заключались в знании им и крестьянского дела, и вопросов, связанных с нашим дорожным делом. Предположения, близившиеся к осуществлению, почему-то затормозились года на два, и единственный результат моих настояний по этому делу Л. 234. свелся к приглашению Б.Е. Иваницкого, который в то время уже не был у активной работы, будучи назначен сенатором, на должность товарища главноуправляющего землеустройством и земледелием. Назначение это было для него совершенно неожиданным и обрадовало его как возвращение на активный пост. При встрече он мне, не без удивления, говорил, что его по телефо-

ну кн. Васильчиков просил переговорить относительно сотрудничества; между тем он знаком с князем ранее не был. Без сомнения, моя справка сыграла решающую роль в выборе кн. Васильчиковым ближайшего помощника себе. Еще лишний штрих в подтверждение высказанных мною соображений о минимальном значении протекций в нашем старом служебном строе, по сравнению с деловыми соображениями.

В разгар моих работ приехал в Петербург из Владивостока С.П. Шликевич. Когда он появился в нашем Управлении, ко мне прибежали молодые чиновники сказать об этом и, смеясь, предсказывали немедленную мою расправу с ним: очень, де, у него злой вид. Действительно, взаимное наше представление отличалось чрезвычайной сухостью; он злился на меня, видя во мне столичного «чинуша», ничего не понимающего в местных делах и бездействующего, а я злился, чувствуя себя заранее несправедливо обижаемым. Светлые свирепые глаза Шликевича впились в меня без каких-либо признаков не только приветливости, но даже вежливости; как-то под влиянием выражения этих глаз одна дама, сидевшая на пароходе против Шликевича, смущаясь его пристальным машинальным взглядом на нее, долго крутилась и, наконец, не выдержала и громким шопотом, слышным все палубе, воскликнула: «у-у, демон!» Я тоже, вероятно, был мало приветлив, ибо по складу моего лица, даже тогда, когда хочу быть любезным, часто заслуживаю упреки в отсутствии приветливости.

Через несколько часов собеседования, когда Шликевич увидел во мне единомышленника и не ленивого, а работающего, у нас установились хорошие отношения, перешедшие через несколько месяцев, при моей поездке на Дальний Восток, в близкие, приятельские.

Особенно тогда волновал Шликевича у меня казачий и старожилостроительский вопрос. Это первое дело, которое требовалось и можно было бы разрешить, не выжидая созыва дальневосточного совещания.

Гр. Муравьев-Амурский для защиты пограничной полосы начал селить вдоль Амура и Усури забайкальских и других казаков, обычно штрафных, от которых рады были отделаться их общества. Никогда в своих правилах о переселении не предпрещал Муравьев вопроса о том, что вся указанная полоса будет предоставлена казакам; равным образом, надо сказать, что нигде в его правилах не имелось постановлений, в силу которого надлежали бы безусловному закреплению и за крестьянами-переселенцами стадеятинные их наделы; наоборот, говорилось прямо, что надел, который в течении пяти лет не будет личным трудом [так в источнике] переселенца обрабатываться, подлежат отобранию от него. Таким образом, дело по плану Муравьева покоилось на истинно-государственных колонизационных основаниях, а не на узко-сословных и частноправовых началах. Между тем, с течением времени, муравьевские заветы были забыты: генерал-губернатор Духовской, основываясь на одном весьма юридически спорном полномочии наказного атамана, очертил на карте совершенно произвольно район войскового казачьего землепользования, с тем, чтобы во избежании чересполосица, в этот район не допускались крестьяне. Войско начало считать себя чуть ли уже не собственником всего очерченного района, не ожидая

его окончательного землеустройства. По этой причине до 15 миллионов десятин земли и леса оказались под запретом для крестьянского переселения, в то время, как вся численность войскового населения не превышала ничтожной цифры в 60 000 душ обоего пола. Запрет коснулся именно наиболее удобно расположенных пространств, ибо опыт переселенческого дела показывает, что массовое заселение всегда идет по долинам рек и до их заполнения не может быть искусственно переброшено в оторванные от естественных путей сообщения районы. Обширные наделы не могли, конечно, не привлекать к себе желтых арендаторов китайцев; земля истощалась, казак отвыкал от земледелия. Повторялось, одним словом, нечто вроде башкирской земельной истории, но гораздо более опасной по своим политическим последствиям. Казачество в наших правящих сферах, несмотря на давно изменившиеся исторические условия, являлось каким-то фетишем, прикасаться к которому не разрешалось. Кубанские и прочие рады достаточно, кажется, показали в наше смутное время узкий сословный эгоизм и антигосударственность нашего казачества в его массах, но и теперь все-таки упорно Л. 236. повторяются слова в защиту «исконных прав», как в свое время исконным признавалось и крепостное право. Борьба в казачьем дальневосточном вопросе была трудна и крайне медленна; шаг за шагом, путем утомительных ведомственных трений и представлений Сенату удавалось отвоевать под общие переселенческие нужды Тит или иной кусок земли, пока не последовало общее разрешение вопроса по образовании Дальневосточного совещания. Неприкосновенности наделов старожилов-крестьян, в нарушении Муравьевских правил, так и не удалось поколебать, хотя и они могли бы дать некоторый колонизационный фонд, и хотя этой мерой тоже была бы сокращена желтая аренда.

Я не могу останавливаться на всех перипетиях земельного вопроса, тянувшегося несколько лет, на всех тех волнениях, обидах и столкновениях, которые переживали по этому поводу Шликевич на месте — во Владивостоке, я — в центре. Кончилось дело тем, что мы оба заболели довольно сильным нервным расстройством. Шликевич — раньше, я — позже. У Шликевича было много врагов, на него писались доносы. Знаменитый фельетонист «Нового времени» Меньшиков, не проверив достоверности своего корреспондента, посвятил большую статью делам Дальнего Востока, в которой обвинял Шликевича чуть ли не в государственной измене. Сведения Меньшикова указывали, что Шликевич, как поляк, которым он, кстати сказать, никогда не был (он дворянин Курской губернии), умышленно тормозит заселение Уссурийского края, имеет сношения с Японией и т. п. Я написал Меньшикову довольно резкое письмо, в котором рассказал, как Шликевич борется за каждую пядь земли в интересах русских переселенцев; предлагал лично или через кого-нибудь другого ознакомиться со всеми делами и перепиской моего отделения, чтобы убедиться, что мои заявления — не голословны. Меньшиков ничего не ответил на мое письмо, если не считать вскользь брошенной им в следующей очередной статье фразы о том, что некоторые упрекают его в неточности иногда даваемых им сведений, не понимая, что он не министр, имеющий на местах в своем распо-

ряжении массу чиновников. Поразительно легко относилась наша пресса к репутации и нервам чиновников: налжет, что-нибудь и даже не сочтет долгом исправить свою ошибку. Я уж не говорю о нашей оппозиционной прессе — та допускала заведомую ложь. Например, я сам читал в какой-то дальневосточной газете совершенно фантастические описания приезда в Никольск-Уссурийский, теперь убитого, конечно, большевиками, протоирея Восторгова, так ненавидимого нашей левой прессой и так радостно всегда встречавшегося даже левыми переселенческими чиновниками за его удивительное умение говорить с крестьянами, подбадривать и успокаивать их; один эс-дек говорил мне, после одной из таких речей, с возмущением: «представьте, и я не выдержал: плакал, сам злясь на себя». Описание газеты начиналось так: «небезызвестный священник Восторгов, выйдя из поезда ранним утром, прежде всего направился в станционный буфет, где, по обыкновению своему, выпил большой стакан водки» и т. п. в том же духе. Восторгов никогда ничего спиртного не потреблял и добродушно хохотал, читая мне эту газетную заметку. Но на то и была эта оппозиционная газета, почему же Меньшиковым и ему подобным было стыдно заявить публично, что они ошибались в таком-то и таком-то случае — этого не понять. Шликевич во мнении читателей «Нового времени» так и остался «государственным изменником». Сам он счел ниже своего достоинства опровергать возведенную на него клевету. Он просто начал плакать, без всякого иногда серьезного к тому повода. Увидит какого-нибудь старика со старухой, подумает, что и он с женой когда-нибудь будет так же беспомощен, и заплачет; скажут при нем слово «казак» — плачет часа два подряд. К этому примешивался, конечно, обычный неврастенический страх.

Я почувствовал себя плохо совершенно неожиданно. Возвращался домой, и вдруг ноги отказались мне служить; я взял извозчика, хотя до квартиры моей оставался всего только один квартал; мне казалось, что я упаду на панели. Начались истерические спазмы в горле, боязнь перейти через площадь, боязнь упасть на улице и т. п., я пересиливал себя сначала, ходил на службу, но стоило мне прочесть слово «казак», как у меня холодели, как лед, руки, горло сжималось, и я должен был убежать из Управления. Пришлось лечиться; помогли мне углекислые и электрические ванны; особенно благотворно действовали на меня ножные и ручные теплые ванночки с электрическим током. Года два, однако, после этой болезни я не Л. 238. выносил звуков музыки. Шликевич был помещен в санаторий для нервных больных под Москвой. В осенний мрачный вечер, когда моросил скучный дождь, и парк санатория был весь окутан белесоватым туманом, мы ходили с Шликевичем по аллеям парка и печально беседовали. Я ехал в продолжительную командировку в Хабаровск; нервы мои еще были чрезвычайно плохи, прошло только чувство страха, но истерический спазм в горле остался, Шликевич же часто плакал. Мы оба считали, что наша работа, способность работать кончена, что теперь придется только как-нибудь доживать свою жизнь. Расстались мы с большой грустью, не предвидя, что впереди нас ожидала еще большая живая деятельность, как в дорогом нашем сердцам Приамурье, так потом и на театре великой войны.

Неврастенику надо постепенно научиться взять себя в руки, научиться владеть собой, заняться, так сказать, самовнушением; особенно полезно для этого прочесть о Крестных Муках Христа и понять после этого ничтожество собственных мелких переживаний; благотворно действуют также героические сказания, например, «Огнем и мечом» Сенкевича, который так и говорил впоследствии, что написал он это свое произведение «для укрепления сердец». Я совершенно исцелился от болезни только тогда, когда нашел истинный путь к укреплению своего сердца, когда мне стало стыдно своей слабости; медицина же лишь облегчала и ускоряла поиски этого пути. Тогда же, во время моей поездки в Сибирь, я переживал отвратительные припадки малодушия; каждый час продвижения моего на восток наводил на меня все более и более мрачные мысли — я думал, что больше не увижусь с родными и близкими людьми. Порою, когда становилось очень плохо, я еле удерживался, чтобы не пересесть в обратный поезд; я с завистью смотрел на каждого пассажира, который двигался на запад; завидовал моим попутчикам, которые ехали во Владивосток всего на одну неделю; перед Байкальским озером, которое, казалось, станет стеной между мною и родным городом, я уже начал собирать вещи, чтобы оставить поезд, но пересилил себя с большим напряжением воли и благодарил потом судьбу, что преодолел свое малодушие, за которое мне пришлось бы, конечно, впоследствии всегда краснеть. Я ехал ведь не для личного развлечения, а в помощь местному председателю Главного Управления Землеустройства и Земледелия В.П. Михайлову, впоследствии перешедшему на должность Начальника Алтайского Округа Кабинета Его Величества, и скончавшемуся теперь на юге России от тифа.

Я несколько забежал вперед, так как первая моя поездка на Дальний Восток состоялась раньше на год, до болезни моей, которая и явилась, вероятно, отчасти, следствием большого нервного утомления после первой моей командировки.

Для того, чтобы подготовить материал совещания по делам Дальнего Востока, мысль о котором не была оставлена, главноуправляющий нашим ведомством испросил в 1908 году Высочайшее соизволение на командирование с этой целью в Приамурский край Б.Е. Иваницкого; я был назначен в его распоряжение в качестве начальника его канцелярии, для систематизации собранных материалов, ведения журнала местных совещаний и составления отчета; в помощь мне был дан мой собственный помощник по отделению, ожидавший нас уже в Иркутске, А.А. Татищев, а хозяйственной частью нашего путешествия заведовал чиновник особых поручений камер-юнкер Ф.И. Ожаровский, удивительно добрый, внимательный, старавшийся всемерно облегчить всякую мелочь нашей кочевой жизни. К общему нашему горю, он, по каким-то личным причинам, покончил с собою вскоре по возвращении нашем в Петербург.

Поездка наша и в деловом, и в бытовом отношении была чрезвычайно интересна, в особенности для меня, впервые побывавшего на нашей дальневосточной окраине.



С первого часа у меня начались мелкие столкновения с моим начальником. Я не привык долго находиться под чей бы то ни было опекой; одно дело — служба, другое — совместная жизнь в одном вагоне (нам был дан отдельный удобный слон вагон); создается обстановка, при которой все время находишься на службе, под бдительным начальническим оком. В Сибири долго потом рассказывались различные анекдоты о наших «семейных» сценах. Так как они характерны для определения чиновничьих взаимоотношений моего времени, я вкратце остановлюсь на них.

Иваницкий, с его педагогическими привычками, был, конечно, весьма тяжел для меня вмешательством в его различные мелочи моей путевой жизни. Я же не мог его не раздражать тем, что не Л. 240. умел отказаться от многих, давно усвоенных личных привычек; кроме того, как я уже неоднократно отмечал, я был весьма плохо дисциплинирован и избалован моей свободной с детства жизнью, я любил слегка хулиганить. В деловом отношении приемы нашей работы тоже были различны: Иваницкого интересовало дело во всех его технических подробностях, он, как физик, мыслил индуктивным способом, я же — классик и юрист признавал только дедукцию; меня занимали общие положения, из которых уже для меня сами собой вытекали частности. На этой почве Иваницкий часто раздражался, что я забыл записать при разговоре с кем-нибудь из местных агентов какую-нибудь подробность, название какой-нибудь деревни, либо не взял в Петербурге какой-либо цифровой справки и т. п. Я же, с первых дней, а особенно ночей, когда я лучше всего всегда думал, мысленно составлял общий план работы, предreshал ее основные выводы. Как всегда бывает, истина добытая и путем индуктивным, и путем дедуктивным, должна быть одна, а потому итог работ примирил мое начальство со мною, но процесс их сопровождался часто большим взаимным раздражением, мешавшим спокойной работе и утомлявшим нервы. Русские в этом отношении не умеют, как немцы, бережно обходиться со своей и чужой мозговой энергией; треплют ее, как неискusstный кучер горячих лошадей.

«Недоразумения», как я и говорил, начались с первых дней нашей совместной жизни. Иваницкий запретил мне брать с собой штатское платье; я вынужден был, ворча, заказать себе форменное одеяние, хотя шпаги так и не купил (за всю мою жизнь я не имел этого оружия). Мне досадно было затраченных на форму денег, но Иваницкий находил, что форма будет способствовать большей моей дисциплинированности. На вокзал я всегда любил приезжать за пять-десять минут до отхода поезда, чтобы не толкаться долго в толпе. Так я поступил и на этот раз. Начальство мое уже давно находилось на вокзале; ко мне, по его поручению, говорили по телефону; считалось, что я опоздал и не еду. Поэтому в вагоне сразу же было заметно недовольство мною. Разговор начался с того, во что обошлась мне форменная одежда; я назвал какую-то низкую, сравнительно, сумму. «О, да у вас, значит, много осталось денег от прогонных», заметил Иваницкий. Когда я возразил, что мне пришлось произвести Л. 241. некоторые другие расходы, например, оплатить квартиру вперед, заплатить долги приятелям, попрощаться с ними и т. п., Иваницкий уже озабоченно спросил: «сколь-

ко же вы взяли с собою денег?» Я назвал сумму, немногим большую чем стоила мне форменная одежда. Тогда Иваницкий, хотя и шутя, но уже сердясь, начал выпытывать у меня, не намерен ли я остаться на постоянное жительство во Владивостоке, или, быть может, предполагаю брать взятки с местных чиновников и т. д. «Как же вы, на какие средства приобретете себе обратный билет?», обратился ко мне Иваницкий, когда я ему спокойно возразил, что ни жить постоянно во Владивостоке, ни брать взятки я не собирался; «на кого или на что вы рассчитывали, выезжая из Петербурга; вы должны были отказаться от командировки, если растратили ваши прогонные деньги». Я заявил, что рассчитывал, в случае нужды, перехватить именно у него. Иваницкий надулся и возразил, что он мне ничего не даст, так как у него самого денег в обрез, и что вообще он умывает руки во всей этой моей истории. И, действительно, когда настало время отъезда, он мне ничего не дал, а сказал Ожаровскому: «купите этому билет, но только не говорите, что я дал деньги». Потом я узнал, что Иваницкий вытребовал из Петербурга свое жалование, чтобы купить мне т себе обратные билеты.

Всю дорогу Иваницкий следил, чтобы я вставал рано и являлся на утренний кофе на позже 8 часов утра; когда я опаздывал, я бывало это часто, в силу моей привычки лучше всего спать под утро, Иваницкий очень волновался; видя иногда меня в коридоре идущим в умывальную без верхней одежды, он громко шептал: «видеть не могу этот цвет увядшей надежды»; такого цвета, вялой зелени, было на мне нижнее белье. Заботился он также о том, чтобы я не простудился. Когда мы приехали, уже поздней осенью в Уссурийский край, он настоял, чтобы я купил себе калоши. Я не привык к этому виду обуви и забывал их при первом удобном случае, почему по требованию Иваницкого мне приходилось покупать их неоднократно. Близ Никольска-Уссурийского, в помещении волостного или полицейского управления Иваницкий разбирает один земельный спор, возникший по всеподданнейшей жалобе местных кулаков. Государь, введенный в заблуждение жалким тоном их прошения, вначале стал на их сторону, но, после всестороннего освещения дела на месте, оно было разрешено справедливо. Когда мы, возвращаясь, после допроса жалобщиков, подъезжали уже к станции, т. е. проехали почти весь, довольно широко раскинувшийся город, Иваницкий обратил внимание на мои сапоги без калош; «где же ваши калоши?», озабоченно спросил он; «очевидно, там, где мы были, в волостном правлении», отвечал я. На предложение вернуться за калошами, я отвечал отказом, и рассерженный Иваницкий объявил, что в таком случае он сам поедет разыскивать мои калоши. Я, в свою очередь, рассердился на такую опеку и предоставил ему ехать, но, конечно, не одному, а вместе. Калоши были разысканы, а потом Иваницкий, в течении нескольких дней, недовольно показывая на меня, говорил среди наших чиновников: «хороши современные чиновники; товарищ министра должен заниматься поисками их калош!»

На той же станции было назначено рано утром совещание местных лесничих. Перед заседанием Иваницкий предложил мне пойти постричься. Так как он был лыс, парикмахер быстро привел его в порядок, а со мною

возился дольше, и я опоздал на заседание. По растерянности лесничих и выражению лица Иваницкого, я понял, что мое отсутствие всех истомило, так как Иваницкий за что-то, в ожидании открытия заседания, разносил лесничих. Когда я вошел, Иваницкий встретил меня такой фразой, произнесенной крайне раздраженным тоном: «если вы не желаете быть вежливым с вашим начальством, то по крайней мере подумали бы о ваших сослуживцах, теряющих зря деловое время». Я обозлился, так как к парикмахеру я был отведен именно самим Иваницким, и совершенно официально отрапортовал: «ваше превосходительство, я не считал приличным являться на заседание с половиной бороды». Лесничие и другие члены совещания еле удерживались от смеха, а Иваницкий потом мне сказал, что если бы я сопровождал Плеве, то давно уже этапным порядком был бы возвращен в Петербург.

В Хабаровске, решив пойти в баню, я вынужден был подвергнуться одеванию меня, по распоряжению Иваницкого и при его участии, в его шубу и разные теплые вещи; это напоминало мне времена детства. Иваницкий был искренно обрадован, когда узнал, что в выбранный мною день баня закрыта, но, конечно, не преминул саркастически высмеять свойства моего беспорядочного характера: «наряжается в баню и даже не спрашивается открыта ли она; так вот и на службе: не признает никакого Л. 243. порядка», говорил он.

Все эти мелочи, при воспоминании о них, рисуют только добрые черты характера моего начальника, но во время работы сильно злили меня и мешали мне сосредоточить мысли над занимавшим меня делом, тем более, что до окончания работ не было уверенности, при выслушивании порою злых упреков Иваницкого и сравнении меня с другими петербургскими чиновниками, что я буду в состоянии удовлетворить всем его деловым требованиям и что он разделит те соображения, которые давно уже назрели у меня, за время моей столичной подготовке к дальневосточному вопросу.

Работа была очень напряженная и нервы трепались.

Местные чиновники боялись товарища министра не потому, что им было чего бояться или стыдиться в своей деятельности, но просто потому, что они наслышались уже о его вспыльчивости и придирчивости на словах. Однако, вскоре они осваивались с его манерой держать себя и через короткий срок совершенно не стеснялись его, видя в нем только старшего товарища и привязывались к нему. Помню, как долго готовили к встрече с Иваницким одного из самых неотесанных «подрайонных» — Луцкевича, как назывались переселенческие чиновники, ведавшие частью области — уездом, двумя или более, в зависимости от местных условий. Это был типичный мелкий степной помещик; здоровый, коренастый, с сильным сиплым голосом, с громадным кулаком, в смазных сапогах. Он любил крестьян, служил идейно, впрочем, как и большинство «переселенных» — так называли наших чиновников переселенцы. Говоря о делах, он любил неожиданно изо всей силы ударить собеседника своей широкой ладонью по колену, доводы свои подкрепить отборными русским ругательством и т. п. Шликевич и другие старались внушить Луцкевичу при-

митивные понятия служебной дисциплины; товарища министра, мол, надо называть «ваше превосходительство», говорить с ним спокойно, без крика и жестов, не чертыхаясь и т. д. Добродушный Луцкевич выслушивал все эти увещания с полным вниманием, смеялся по поводу сомнений в неумении его совладать с собою. Представление Луцкевича товарищу министра состоялось в вагон-салоне; я застал их уже за оживленном разговором; рука Луцкевича крепко держала колено Иваницкого, к счастью не поднимаясь в воздухе; во время доклада прорывалось слово «черт его...», после чего докладчик кашлял и подыскивал другие выражения. Иваницкому этот энергичный наш работник понравился, но служебная судьба его была печальна: он был предан суду за растрату. Дело это очень интересно для тех, кто за формой не видит часто живого дела, особенно для наших контрольных чиновников. Наплыв переселенцев в Уссурийский край в 1909 году был так сравнительно велик, кредит на выдачу ссуд домообзаводство так опоздал, что чиновники, когда получали деньги, из кожи лезли вон, чтобы поскорее удовлетворить первую острую нужду новоселов. Работа шла и днем и ночью. Ссуды выдавались порою без расписок получателей, во избежании задержки очередей; оформлялась выдача на другой или даже через несколько дней. В результате у Луцкевича не хватило расписок на несколько десятков тысяч рублей. Никто из сослуживцев его не сомневался в его честности, всем было ясно, что его горячность и безалаберность были причиной его формальной неисправности; близким к нему нашим чиновникам было известно, что он не только не растратил казенных денег, но и вложил в дело помощи переселенцам весь личный капитал, вырученный от продажи его имения, кажется, тысяч двадцать. Тем не менее, по официальным основаниям, Лучкевича пришлось устранить от должности до разрешения дела судом. Коронные судьи, при всей их обычной суровости, с полной идеальной справедливостью разобрались в этом деле: они признали, что в той обстановке, в которой работал Луцкевич, нельзя было требовать от него исполнения всех формальностей, что, так как никто из крестьян не заявил о неполучении или ссуды в районе Луцкевича, то о растрате не может быть и речи, что переселенческое ведомство обязано уплатить Луцкевичу полное содержание за все время состояния его под судом и следствием (т. е. за два года, в течении которых Луцкевич получал по закону только половинное содержание) и предоставить ему при первой возможности место, равное тому, которое он занимал ранее. Луцкевич, однако, за это время устроился уже в тайге на каких-то частных работах. С делом Луцкевича было связано как-то и нарушение, допущенное Владивостокским казначеем; этот скромный агент министерства финансов в ту же горячую переселенческую пору выдал Луцкевичу и другим чиновникам авансы в несколько сот тысяч рублей, кажется, свыше миллиона, не оформив эти выдачи оправдательными документами, так как деньги требовались в исключительно срочном порядке. Через неделю все было, конечно, оформлено, но в течении недели казначей, семейный человек, не мог быть спокоен за свою судьбу. Управляющий казенной палатой сделал, кажется, замечание или выговор казначею, и этим ограничились кары за его формально большую «провин-

ность». Я лично беседовал с казначеем по поводу происшедшего, и на мое заявление, что он все-таки сильно рисковал, так как получатель крупного аванса мог бы и умереть, я услышал простую, без всякой рисовки, фразу: «да ведь у переселенцев нужда была сильная в деньгах; как же не помочь, хотя бы и с риском, в таком случае?» Я, к сожалению, забыл фамилию этого незаметного героя-альтуриста.

Один наш видный переселенческий деятель «первого призыва» П.П. Архипов был так чужд контрольным тонкостям, что, не будучи в состоянии отсчитаться [так в тексте] в давно израсходованном им авансе, написал просто: «могу сказать одно, что деньги пошли полностью на переселенцев, а не в мой карман». Потребовалось, однако, вмешательство Кавказского Наместника, чтобы этого честнейшего нашего работника освободили от начета по Высочайшему повелению.

Знакомясь при моих поездках в Сибирь все ближе с разнообразными агентами нашего ведомства, я все более и более проникался чувством глубокой радости за русский народ, который мог выдвигать из своей среды столько оригинальных недюжинных работников. Их имена оставались неизвестными обществу, они не достигали ни крупного служебного, ни сколько-нибудь прочного материального положения, они получали личное удовлетворение в самой работе. Сотни неизвестных людей совершали часто географические экспедиции, часто в те места, в которых еще не было ни разу ноги исследователя; многие доклады землеотводных чинов имели большое научно-литературное значение. Работа их часто сопрягалась с большими опасностями для жизни. Я знаю случаи, когда приходилось в далекой тайге лишаться всех запасов продовольствия, чтобы облегчить себе продвижение вперед к поставленной цели. Знаю одного фанатика-исследователя из дальневосточных переселенческих чиновников, который умышленно потопил все продовольственные запасы своей партии, чтобы отрезать ей путь отступления, когда в ее среде начались колебания и возникло предположение с остатком провианта вернуться в Благовещенск. Такие люди становились похожи на майнридовских героев; они знали всеми фибрами своего тела и души, знали и чувствовали дикую прелесть природы далеких окраин Сибири, почти обожествляли эту природу, были красиво суеверны. Мне не забыть с каким выражением лихорадочно блестящих черных глаз и верою в особую духовную мощь моря, закричал на нас упомянутый мною фанатичный чиновник, когда мы смеялись по поводу невероятно сильного подбрасывания волнами нашей моторной лодки при выходе в свежую погоду из устья пограничной с Кореей реки в открытое море, где на рейде ожидал нас пароход. «Молчите, море мстит за смех над ним!», было сказано нам таким тоном и с таким повелительным жестом, что невольно среди нас установилось гробовое молчание; впрочем, положение наше в устье реки — самом опасном месте плавания в Японском и Охотском морях — было действительно весьма рискованное: остановись мотор на несколько секунд только, и мы погибли бы; волна в устье достигает высоты почти двухэтажного дома, лодку медленно вытягивает на гребень и затем стремительно бросает вглубь,

так, что кажется, будто, вот-вот разобьется о дно, всегда более приподнятое в устье реки.

Князь Г.Е. Львов, будущий неудачный глава нашего неудачного временного правительства и тот, ознакомившись с составом местных переселенческих работников, не постеснялся дать им эпитет «героев». Этим заявлением кончается большой печатный труд Всероссийского земского союза по обследованию Приамурья. Книга эта составлена тенденциозно, проникнута вся желанием показать несостоятельность нашего правительства, почему верные критические мысли перепутаны в ней с необоснованными мелкими выпадами. Но тем ценнее заключение книги о личном землеотводном составе переселенческого ведомства. Кстати, всякому, кто хочет познакомиться в кратких, но ясных чертах с историей освоения нами Приамурской окраины, стоит прочесть прекрасно составленный сжатый исторический очерк, являющийся введением в книгу Земского Союза. В остальном собранные им данные значительно устарели и недостаточны по сравнению с обширными печатными трудами Амурской экспедиции, о которых я буду говорить ниже.

Досадно, что беспристрастному отзыву князя Львова о наших «переселенных» не следовала периодическая пресса; тогда бы общество хотя что-нибудь знало и ценило в нашем окраинном правительственном аппарате, а, может быть, поинтересовалось и прочесть что-либо из интереснейших печатных работ переселенческого ведомства, во всяком же случае знало бы больше правды, чем из меньшиковского фельетона о государственных изменниках в составе этого ведомства.

Местные наши агенты были любимы населением; слово «переселенный» произносилось крестьянами совершенно иным тоном, чем «земский». «Переселенных» знали и с ними охотно советовались. Однажды на одну нашу партию обследователей, спускавшуюся по реке в лодке, было сделано с берега вооруженное нападение; «производитель работ» был ранен; когда нападающие с берега узнали форменные фуражки наших чиновников, они начали выкрикивать извинения; не узнали, мол, сразу кто это.

Иваницкий, сделав визит Приамурскому генерал-губернатору Унтербергеру в Хабаровске, решил объехать сначала наиболее типичные старожилые и переселенческие деревни, осмотреть некоторые работы по отводу переселенческих участков, посетить некоторые лесопромышленные и рыболовные предприятия и т. п., а затем уже обсудить собранные данные и план дальнейших действий в совещании под председательством генерал-губернатора.

Поездка по переселенческим районам представляет тоже особый интерес, что наглядно видишь процесс зарождения хозяйственно-культурной жизни, начиная от первого шалаша вновь прибывшего переселенца и кончая богатыми, каких может быть мало и в метрополии, селами со школами, здания которых не уступают нашим средним губернским гимназиям, с церквями и проч. Срок более или менее прочного хорошего устройства на новом месте достигал пяти лет; все стадии пятилетнего развития новосельческих поселений можно было наглядно изучить в день-два, так как группы



новых отведенных участков примыкают к отведенным за последние годы. В бытовом отношении чрезвычайно интересно то, что в течении тех же двух дней можно проехать, так сказать, по всей России: переселенческие деревни, за небольшими исключениями, заселяются выходцами из одной и той же губернии или даже уезда и волости; поэтому из чисто хохлацкой, например, деревни с уютными белыми мазанками, через несколько часов пути попадаешь в бойкую ярославскую деревню, либо к профессионалам по нищенскому промыслу пензенцам, либо в серую, лениво бездарную жизнь белоруса, наконец, даже в старообрядческую обстановку наших ре-эмигрантов из Турции и Румынии и т. п. Быт, особенности русского крестьянства нигде нельзя, кажется, изучить скорее и легче, чем в наших колониях. В один день, бывало, то приходишь в восторг от самостоятельности, сметливости и жизнерадостности наших северян: архангельцев, ярославцев и проч., то смеешься по поводу нытья и детской хитрости малоросса, вечно ноющего, чтобы выпросить что-нибудь лишнее для улучшения своего хозяйства, обычно, всегда и так прекрасно устраиваемого, то злишься, когда видишь полную апатию какого-нибудь витебца и т. д. Кстати, о пресловутой малоросской хитрости: как-то в приморском переселенческом участке, в разгаре лова рыбы, количество которой днепровские жители и вообразить себе не могут, я шутя спросил хохла-новосела у громадной лодки полной рыбы: «хорошо ловится?» Он почесал себе затылок и отвечал угрюмо, что ожидал большего, а затем добавил: «а що же буде добавочна доподмога?» Как контраст с этим, всегда ожидающим чего-то лучшего, вспоминаю мою встречу у парома с ярославской очень красивой молодичей, проживавшей в одном из самых диких таежных участков — в Тарском уезде Тобольской губернии. «Ну, как живете?» «А как на каторге», последовал со смехом веселый бойкий ответ. Действительно, в этом лесном участке происходила героическая борьба с богатой, но суровой природой, но никто ни о каких «доподмогах» — пособиях не заикался. Там жили те, кем сильна Русь.

При моих поездках я всегда думал о том, как хорошо узнала бы наша учащаяся молодежь родину, если бы, кроме европейских столиц, она совершала экскурсии по нашим колониям. И как бы она научилась тогда любить коренное русское население.

С Иваницким мы посетили подготовительные работы к постройке Амурской железной дороги. Тогда начинались, кажется, только Л. 249. изыскания. В совершенно глухой, дикой местности, на границе Забайкальской и Амурской областей устраивался материальный склад, строились бараки для рабочих. На реке Зее у меня остался в памяти один переселенческий участок: Суражевка. Он был так назван в честь единственного переселенца, выходца из Суражского уезда Черниговской губернии, который почему-то расположился на этом далеком, неприветливом и в земледельческом отношении мало интересном участке. В официальной ведомости участков Амурской области так и значилось в графе о населенности участков: «душ обоего пола — одна». Тогда нельзя было предвидеть, что население с одной душой обоего пола обратится в довольно большое уездный город.

Такие чудеса делает железная дорога в дикой тайге. Об этой интересной подробности моей работы я расскажу ниже при описании деятельности Амурской экспедиции.

Путешествие наше с Иваницким по приморским селениям на север и юг от Владивостока /Татарский пролив и залив Посыет/ познакомило нас с опасностями, которым подвергались так часто наши местные агенты; мы были близки к гибели, чему в следующие мои странствия по Приморью я подвергался, впрочем, неоднократно. По пути из Татарского пролива во Владивосток по морю стало тихо, как зеркало, и постепенно стало обволакиваться густым молочным туманом. Это было предвестником бури — через несколько часов мы попали в «тайфун» — так называемый воздушный смерч на Тихом океане, направление которого объявляется телеграфом во все порты, и мореплаватели в этом случае избегают районов близких к движению тайфуна. Нашу «рыбоохранную», изящную, но не большую, всего в 500 тонн, яхту «Лейтенант Дыдымов» начало сильно трепать. К вечеру появился у Иваницкого командир яхты Щербина спрашивать указаний; нас наносило еще на неубранные после войны с Японией минные заграждения; неминуемо предстояло нам взорваться на них; поэтому надо было бы взять курс в открытое море на Японию, но за благополучие поворота, в виду высокой волны, командир не ручался. Иваницкий распорядился, конечно, сделать поворот в открытое море. Ощущение было чрезвычайно сильное: казалось, что мы рухнули в какую-то пропасть. Во время поворота приамурский управляющий государственными имуществами В.К. Бражников, известный ученый ихтиолог и человек Л. 250 большой отваги лично стоял у капитанской рубки; его смыло волной и он уцелел лишь случайно, ухватившись в темноте рукой за железную перекладину и повиснув на некоторое время в воздухе. Всю ночь мы держали курс на Японию и потом очень сожалели, что под утро повернули на Посыет, будучи уже вблизи Японии, куда мы могли бы пойти на законном основании.

В Государственной Думе были предвзятые нарекания на неудачный заказ нашим ведомством двух яхт для охраны наших морских промыслов; вторая яхта «Командир Беринг» была однотипной с первой. Нападки думской оппозиции сводились именно к указаниям на плохую, будто бы, устойчивость наших яхт и непригодность их к плаванию в таких бурных морях, как Охотское и Японское. Иваницкий был очень доволен, что случай дал ему возможность лично убедиться в прекрасной мореходности наших яхт. Капитан Щербина, делавший продолжительные ежегодные рейсы на Камчатку и вдоль ее побережья, всегда хорошо отзывался о своей яхте. Щербина был то, что называется «морской волк»; он много рассказывал мне про своего начальника капитана Гека, в честь которого нашим ведомством был назван рыбоохранный катер. Семью Гека вырезали китайцы-хунхузы, почему он убивал их беспощадно при всяком удобном случае. Это был человек, для которого жизнь представлялась бесцельной; в последнее свое плавание, уже будучи стариком, он вызвал своего помощника Щербину на рубку и передал ему управление, а сам тут же застрелился.

Ночь на «Лейтенанте Дыдымове» мы провели, конечно, тревожно, а некоторые, склонные к морской болезни, и весьма болезненно; впрочем, таких среди нас было мало. В каюте Иваницкого ударом волны выбило иллюминатор; ее заливало; его с чемоданом выбрасывало то из каюты в столовую, то обратно; понятно, он почти не спал. Я же помещался в одной каюте с Шликевичем: он на загороженной койке, а я на клеенчатом диванчике, почему при сильных ударах меня сбрасывало все время на пол. Спать было трудно, но мне большое развлечение доставлял Шликевич своим злым ворчанием. Он перед эти поссорился с Иваницким из-за того, что три деревни подряд называл одним именем «Буссовка» / Буссе Л. 251. был энергичный переселенческий чиновник, первый из назначенных в Примурскую область для руководства здесь переселенческим делом; его отчеты были очень интересны и ценны/, а кроме того уговорил Иваницкого совершить поездку на одну станцию для демонстрации изобретенного каким-то крестьянином плуга, режущего древесные корни; когда мы приехали, ударил мороз, и плуг не мог работать. Шликевич считал, что силы природы не в его власти, а Иваницкий говорил, что он, как местный человек, должен был бы знать местные климатические условия. Это и другие мелочи влекли мимолетные ссоры, и Шликевич порою в тарантасе писал прошения об отставке, а затем наступало, конечно, примирение. Перед бурей произошла ссора, и Шликевич всю ночь в разговоре со мною упрекал Иваницкого в том, что он виновник нашей гибели, что из[-за] праздного любопытства Иваницкого мы болтаемся теперь по морю и т.д. ... Это собеседование очень скрасило мне ненастную длинную ночь.

Через месяц или полтора мы вернулись в Хабаровск, пробыв некоторое время во Владивостоке для предварительного совещания с местными деятелями. Из владивостокских чиновников у меня резко запечатлелся в памяти образ старого вице-губернатора, уже тайного советника, Омеляновича-Павленко; это был очень умный и чрезвычайно хитрый хохол. Не зная, чья сторона возьмет верх в казачьем вопросе, как умный человек понимая все его колонизационное значение, он в совещании высказал по этому вопросу такое мнение, что понять его содержание не было совершенно ни какой возможности. Как Иваницкий ни наседал на старика, чтобы он выразил свои мысли и как старожил края, определенно сказал «да» или «нет» — ничего не выходило. Омелянович начинал свои ответы с излюбленной им фразы: «оно, конечно, с одной стороны, если...» и затем так запутывал свою речь, что Иваницкий махнул рукой и оставил его в покое.

Среди местных чиновников Омелянович славился тем, что не было такого затруднения, из которого он не находил бы выхода. Даже с мелочами шли к нему советоваться. Например, кому-то надо было написать письмо начальнику главного тюремного управления; должность эту занимал тогда Галкин-Врасский, но чиновник не знал точно его фамилии, кончается ли она на «ий» или «ов», т. е. надо ли писать «Врасскому» ил «Враскову». Обратился к Омеляновичу; Л. 252. последний заявил, что «оно, конечно, и сам я не знаю точно его фамилии, написать же надо отчетливо «Враско», а две последние буквы скорописью, неразборчиво».

Мне лично пришлось иметь следующее курьезное объяснение с Омеляновичем. Из Петербурга Иваницкий получил Высочайший запрос, готова ли церковь в каком-то селении Уссурийского края; был по телефону запрошен губернатор, и Омелянович, за отъездом последнего, в тот же день ответил, что церковь построена. Когда мы проезжали через это селение, Иваницкий пожелал лично осмотреть церковь; оказалось, что постройка ее еще не началась. Я был срочно отправлен во Владивосток для выяснения недоразумения. Выслушав меня, Омелянович совершенно спокойно возразил мне: «оно, конечно, сведения, которые я дал, оказались неверными, но зато я ответил без задержки в тот же день».

По открытии совещания мы опасались резких столкновений с генералом Унтербергером, взгляды которого вообще на способы колонизации Приамурья, а в особенности по казачьему вопросу, были резко противоположны нашим.

Этот честный русский немец был бы хорош в любой европейской губернии, ибо он, хотя по образованию военный инженер, был чрезвычайный законник. Там, где требовались смелость и широкий полет мысли, он пасовал. На наши окраины он смотрел, как на запас для будущих далеких поколений для России; считал, что форсировать их колонизацию незачем; иностранного капитала боялся, как хищника, который разграбит русские богатства. Что природа не терпит пустоты, что если не мы, то наши желтые соседи протянут руку за нашими втуне лежащими богатствами — об этом он не думал. Раз незачем усиленно заселять русскими людьми Приамурье, то ясно незачем колебать прав старожилого, крестьянского и казачьего населения на землю, хотя бы даже если бы эти права и возбуждали какие-либо юридические сомнения. Одним словом — благоразумная осторожность и умеренность во всем. Например, приезжает столичный представитель крупной фирмы с предложением эксплуатировать для добычи йода богатейшие по запасам и количеству йода водоросли нашего побережья в Л. 253. Татарском проливе; с ним начинается такая длительная торговля о различных мелочах производства, что можно подумать, будто бы мы не получаем йода по крайне дорогой цене из Франции, а у нас самих производство его поставлено уже чрезвычайно широко, будто бы лишний рынок сбыта продуктов не привлечет лишнего русского поселенца и т. д.

Одним словом, несомненный честный русский патриот, каковыми были многие из наших прибалтийских немцев, Унтербергер не имел в своей натуре «колонизационной изюминки». Мой знакомый встретил этого почтенного генерала в начале смуты в Петербурге; он был очень опечален происходящими событиями, но главное, что его мучило было не революция; «это внутреннее русское дело, Россия переживет беспорядки», говорил он, «ужас в том, что в Петербург могут теперь войти германцы». Такова была психология этого человека, характеризующая его, как гражданина своего отечества.

Петербург, особенно придворные сферы, зная такие качества генерала Унтербергера, долго не могли понять, что он не на месте. Только в результате сенаторской ревизии Приамурского военного округа и настоя-

чивости П.А. Столыпина удалось добиться в 1911 году назначения более подходящего лица на должность Приамурского генерал-губернатора с разделением в крае впервые гражданской и военной власти. Этим лицом явился бывший переселенческий чиновник Н.Л. Гондатти, о котором мне придется говорить при описании работ Амурской экспедиции. Покойный Столыпин лично рассказывал Гондатти с каким предубеждением Государь относился к доводам его о необходимости поставить во главе генерал-губернаторства гражданского чиновника. Мера эта была принята сначала в отношении Иркутска, куда на место генерала Селиванова, честного, прямого, но не искушенного в современной администрации солдата, был назначен пользовавшийся среди населения большой популярностью «штатский» генерал-губернатор Князев, и только через год после этого состоялось назначение в Хабаровск Гондатти.

Благодаря такту Иваницкого, многочисленное и разнообразное по составу совещание благополучно миновало все острые подводные камни; несогласия генерал-губернатора с его партией и представителей нашего ведомства подробно, но в общем спокойно, обсуждались и спорные заключения заносятся в журнал в двух редакциях, с тем, что окончательное решение последует в Совете Министров. Только чрезвычайно неуравновешенный помощник Шликевича — М.Н. Савинский, во всякое дело вносящий много иной страстности, порою бывал почти груб в своих выражениях генерал-губернатору. Иваницкому пришлось даже однажды после заседания извиниться перед Унтербергером за горячность Савинского. К чести Унтербергера надо сказать, что он вполне терпеливо относился к задору Савинского и сказал Иваницкому, что он не в претензии, так как в резкости Савинского видит только большую любовь к делу. Иваницкий увлекся живостью Савинского и, несмотря на его молодые годы, провел его, после очередной ссоры со мною, на место Шликевича, когда последний был назначен представителем нашего ведомства при генерал-губернаторе. Савинский, по отсутствию служебной выдержки, дающейся, обыкновенно, с годами, не долго продержался на самостоятельном месте, хотя и был весьма энергичным работником. Во время войны он преждевременно умер, под впечатлением смерти единственной дочери.

Мои выступления в совещании показали, как отвыкли мы еще с университетской скамьи связно, продуманно, без волнений говорить при большой аудитории. При первом моем докладе о хуторских работах, я так запутался, что явственно слышал сердитый шепот сидевшего против меня Иваницкого: «что за чушь он несет?» Это, конечно, не могло меня подбодрить. Впоследствии мне пришлось много поработать над собою, чтобы привыкнуть к самообладанию при публичных выступлениях, к сожалению, со времен революции сделавшихся для меня, помимо моей воли, на много лет весьма обычным занятием.

В Хабаровском совещании подверглись обсуждению не только вопросы о крестьянском переселении, но и об отводе промысловых сельских участков, о лесо- и рыбопромышленности, о сети дорог для общенационального экономического оживления края, в частности богатых приисковых районов

и т. д., т. е., другими словами, была уже дана, снабженная местными материалами, схема колонизационного, а не узко-переселенческого плана. Составленный мною и отчасти Татищевым журнал работ совещания представил обширный труд, страниц 300 печатного текста. Его содержание с несомненностью предreshало уже необходимость какого-то междуведомственного органа для принятия тех или иных решений и окончательной разработки поставленных широко колонизационных задач. Индуктивный и дедуктивный методы работы, как и следовало ожидать, сошлись в конечных итогах; Иваницкий, читая журнал, уже довольным тоном говорил: «ну, за это вам надо поставить пять с плюсом!»

Лестный отзыв, по поводу произведенной нами работы, был дан в Петербурге таким авторитетом, как старик А.Н. Куломзин. В то время он был членом Государственного Совета, но интересовался всеми мелочами переселенческого дела, заходил к нам в Управление, обижался, если какое-нибудь издание Управления случайно забывали ему послать, вообще продолжал проявлять неизменный живой интерес к делу, несмотря на частые довольно припадки болезни. Однажды я был приглашен в кабинет начальника Управления, у которого сидел Куломзин. В законодательных учреждениях тогда рассматривался законопроект об Амурской железной дороге; Куломзин пожелал для поддержания этого проекта иметь подробную цифровую справку по вопросам земледельческой колонизации Амурской области. Он мне указал какие должны быть включены в справку данные, причем предreshал некоторые цифры и выводы. Я на последнее предложение заявил, что мне надо подумать. Куломзин вскинул с удивлением пенснэ и посмотрел на меня строго-внимательно. Глинка, во избежании каких-либо недоразумений, поспешил сказать Куломзину, что я, мол, такой тип, который может писать только то, что думает и знает. Куломзин, с еще большим удивлением осмотрел меня всего, а, когда я вышел спросил Глинку: «что, этот тип новой формации?» Сильный человек, Куломзин не выносил противоречий и, действительно, импонировал своим умом. Мой ответ не повлиял отрицательно на его отношение ко мне, но произошла странная история: я все-таки написал не «то, что думал», а чего хотел Куломзин и даже должен был расписаться на моей справке; по отпечатывании в типографии Государственного Совета, эта справка в среде государственной канцелярии и была известна именно под названием «Романовской». Она для тактических целей того момента была полезна, но включенные в нее данные я сам через год горячо опровергал в последующих своих печатных трудах.

Похвала Куломзина по поводу работ Хабаровского совещания была чрезвычайно ценна для нас, ибо он зря и легко похвалы свои не расточал.

В следующем, 1909 году, с уходом Шликевича в отставку по болезни, я снова отправился в Хабаровск, чтобы, как я уже упоминал, помочь новому представителю нашего ведомства В.П. Михайлову в разработке некоторых подробностей, касавшихся отвода промысловых участков, хуторов, тарифов на хлеб и рыбу, организации заграничного экспорта леса и т. п.



Если бы не нервное мое расстройство и огорчение по поводу оставления службы Шликевичем, я уже с радостью уезжал из Петербурга. Месяц почти до отъезда я просидел на заседаниях Государственной Думы; бледные по содержанию, ненужные речи оппозиции, невежественное кривляние кавказских социалистов — все это было чрезвычайно далеко от живого настоящего русского дела. Ближайшие громадные задачи упускались, а говорилось о чем-то далеком, о какой-то «маниловщине», но Манилов мечтал с добротой, а тут в каждой мелочи слышалась одна злоба. Не забыть мне, как один представитель оппозиции беседовал любезно с Глинкой, а потом, вскоре взойдя на кафедру, сразу приобрел какое-то озлобленнейшее выражение лица и с деланным враждебным отвращением начал говорить об ошибках и бездействии переселенческого ведомства. Глинка перед первым выступлением в Думе сильно волновался, советовался со мною о схеме его речи, я ему подробно рассказал, что бы надо было включить в речь; он охал, вздыхал, затем произнес прекрасную, обстоятельную программную речь, в которой не было ни одного почти слова из моей схемы. Развлекали в Думе выходки В.М. Пуришкевича; я с ним встретился в Думе впервые после оставления им недолгой службы в земском отделе; когда мимо нас проходил Милюков с подвязанной щекой, Пуришкевич радостно приветствовал его словами: «ага, побили, наконец». Милюков в ответ кисло улыбнулся. Кстати, речи большинства кадетских лидеров отличались удивительной сухостью и были, большей частью, мертвенно скучны. Скучен был и живой Шингарев, в особенности потому, что он с одинаковым пафосом говорил по вопросу государственной важности и об относительной стоимости, например, яйца в Дании и у нас; дешевые знания и и трескучие фразы утомляли порою до озлобления. Из такой обстановки приятно было вырваться.

В разгар наших работ в Хабаровске, мною было получено сообщение о том, что последовало Высочайшее повеление образовать постоянное совещание по делам Дальнего Востока, под председательством П.А. Столыпина, как председателя Совета Министров; управление делами совещания было возложено на Г.В. Глинку. Это известие дало мне большое нравственное удовлетворение, так как я знал, что принятая мера есть плод моей личной инициативы и настойчивости. Такое сознание является всегда большим стимулом к производительной усиленной работе.

К сожалению, смерть Столыпина в 1911 году, т. е. через полтора, приблизительно, года после учреждения совещания, не дала возможности извлечь из этого учреждения всей той пользы, на которую можно было рассчитывать. Наши финансовые ведомства боялись крупных затрат, которые требовались сколько-нибудь широкими, планомерными колонизационными мероприятиями. С утратой Столыпина, если не считать энергичного, но, сравнительно, недостаточно влиятельного А.Б. Кривошеина, заменившего князя Б.А. Васильчикова в должности главноуправляющего землеустройством, не оставалось у нас лица, которое могло бы с настойчивостью и влиянием покойного премьера отстаивать необходимые ассигнования. Однако, многие вопросы, в том числе и знаменитый казачий, по-

лучили если не полное, то хотя бы частичное разрешение. Главнейшим же результатом деятельности дальневосточного совещания было широко задуманное и выполненное изучение в колонизационном отношении районов строившейся Амурской железной дороги. По инициативе Столыпина с этой целью было испрошено Высочайшее повеление на командирование в Приамурье особой экспедиции.

Начальником экспедиции был назначен томский губернатор Н.Л. Гондатти, а Управляющим делами ее и представителем ведомства землеустройства и земледелия — я. В состав экспедиции, помимо представителей всех ведомств, входили различные специалисты: по геологии, агрономии, ботанике, водным и шоссейным сообщениям, гидротехнике, санитарии, статистике, животноводству и проч.; кроме того, в распоряжение экспедиции была прикомандирована партия военных геодезистов и топографов. Одним словом, состав экспедиции Л. 258. обеспечивал выполнение возложенных на нее задач вполне научными, истинно колонизационными методами, что, во всяком случае, при всяких практических трениях и затруднениях должно было дать громадный вклад в область познания русским правительством и обществом значительной части нашей дальневосточной окраины. Сознание открывающихся перед экспедицией возможностей поднимало настроение, воодушевляло ее участников, а состав их был весьма незаурядный.

Н.Л. Гондатти, по окончании курса естественных наук в Московском Университете, был оставлен при нем, но вскоре уехал на Камчатку на должность начальника округа, где занимался этнографическими исследованиями, и с тех пор работал, исключительно, в Сибири, страстно к ней привязавшись. Он умел очень красиво, красочно, приятным тягучим московским говором рассказывать о различных своих окраинных впечатлениях; слушать можно было его часами, не утомляясь. Работать с ним было очень приятно и легко, так как он давал широкий простор личной инициативе и отличался чрезвычайным спокойствием; за всю мою служебную жизнь это был первый начальник мой, который никогда не волновался, не говорил вспыльчиво со своими подчиненными. По его словам, такие черты характера он выработал в себе постепенно, усилием воли, в молодости же был, будто бы, крайне раздражителен. Постоянная, ровная ласковость его со всеми при долгом знакомстве с ним возбуждала, однако, какие-то подозрения, сомнения в ее искренности. Грубость Глинки мне лично была, в конце концов, дороже, так как искренность в человеческих отношениях всегда была дороже других качеств. Мне пришлось — таки лично убедиться, что Гондатти недолюбливал меня, на словах выражая мне дружеские чувства. Другим недостатком этого человека было болезненное самолюбие; наедине ему можно было говорить все что угодно и заставить разделять ваше мнение, которое затем он выдавал, как свое давнишнее убеждение; те же, кто пытался при посторонних настойчиво отстаивать свой личный взгляд, например, в совещании, нарывался часто на сопротивление Гондатти, принимавшее порою даже характер враждебного упрямства. Вполне разумные проекты одного моего приятеля инженера, всегда говоривше-

го властным авторитетным тоном, систематически Л. 259. критиковались Гондатти в наших общих совещаниях. Поняв истинную причину этих неудач, я посоветовал инженеру докладывать свои проекты Гондатти заранее наедине. С тех пор неудач не было; Гондатти был горячим единомышленником моего приятеля, заявляя в совещаниях, что он «уже давно составил себе такое мнение». Эта слабость Гондатти, да еще любовь его абсолютно всем все обещать даже при заведомой неисполнимости данной просьбы, слегка затрудняла, конечно, нашу совместную работу, но положительные качества Гондатти были настолько велики, что в главнейшей своей части работа шла успешно, без всяких трений.

Ко времени приезда Г. в Читу — штаб и сборный пункт нашей экспедиции в первый год ее работы, я составил общий подробный план действий. Партии специалистов подлежали отправке непосредственно в район Амурской железной дороги для подробных обследований различных природных богатств этого района, с одновременной съемкой тех местностей, на которые не имелось еще карт, и разработкой плана подъездных путей. Но так как Амурская железная дорога, соединяя Забайкалье с Хабаровском магистралью около 1500 верст, должна была внести крупные изменения вообще в экономическую жизнь Приамурья, то отдельные чины экспедиции получили задание обследовать уже в общих чертах, каждый по своей специальности, и более отдаленные регионы, на которые должно было распространяться влияние дороги, включительно до богатейших рыбных промыслов устья Амура и Охотского побережья. Для глазомерной съемки некоторых, совершенно не изученных еще окраин, например, перевала из Забайкальской области в Якутскую, в наше распоряжение, с разрешения генерала Селиванова, была командирована партия офицеров местных стрелковых полков; эти офицеры, покрывшие впоследствии неуваждаемой героической славой свои родные полки во время европейской войны, и в мирное время держали себя героями культурной работы. Вполне интеллигентные, добросовестные и выносливые, они с опасностью для жизни, совершили трудный переход через Становой Хребет, привезя нам уже к зиме, которая застала их в тайге и без провианта (пробавлялись охотой) ценные географические описания и схематические карты, заставившие наших ученых признать ошибочность некоторых мест на прежней карте указанного района. Опять хочется мне сказать: как досадно сознавать, что наше общество знало нашу офицерскую среду, главным образом, по рассказу Куприна «Поединок» и т. п., а ничего не слышало о культурной ее работе.

Наиболее ответственным делом экспедиции, кроме работ по сельскохозяйственному обследованию, было проектирование подъездных путей. Во главе этого дела стоял энергичный живой инженер П.П. Чубинский. Организованные им партии своими обследованиями охватили все главнейшие левобережные притоки Амура, произвели изыскания некоторых шоссейных магистралей от Амура к нашим богатым приисковым районам на границе Амурской и Якутской областей и выяснили экономическое значение служебных подъездных путей к Амурской железной дороге, так

называемых «временок», которые всегда после постройки магистралей уничтожаются, здесь же, в большинстве, имели серьезное колонизационное значение. Можно смело утверждать, что работам партии Чубинского Приамурья было обязано тем, что экономическое влияние Амурской железнодорожной магистрали сразу же было расширено. По получении кредитов на приступ к постройке намеченных грунтовых путей, Чубинский прибег к героическому средству для осуществления полностью плана дорожного строительства, одобренного амурской экспедицией. Кредиты отпускались, как всегда, по частям, скуповато; по смете 1911 года на первые сто-двести верст и т. д.; не было уверенности, что какие-либо события не задержат отпуск денег в следующем году и вместо тысяч верст путей дело сведется только к постройке сотен. Поэтому, чтобы отрезать пути отступления Правительству, Чубинский получая деньги на определенное число верст, не строил их, а производил предварительные работы по всей сети задуманных дорог. Когда это обнаружилось, в конце-концов, Чубинский едва не лишился места, но вышел победителем: к войне, к 1914 году, почти весь наш план был осуществлен.

А какое значение имело дорожное строительство для экономического развития Приамурья можно судить хотя бы по такому примеру, оставшемуся у меня в памяти: цена драги (машины для правильной добычи золота) в Америке была, в мою бытность на Дальнем Востоке, 200 000 рублей; столько же стоило доставить драгу при бездорожье края, от станции реки Амура до приисков. Неудивительно, Л. 261. что на большинстве приисков золото добывалось кустарными, портившими залежи способами. Я лично был на приисках одной английской кампании у Охотского побережья; это были прииски, считавшиеся уже отработанными, невыгодными, но англичане, привезя машины, с большой выгодой работали на них. Рядом возникло, конечно, огородное хозяйство, имевшее прочный сбыт; началась вообще культурная жизнь в дикой глуши. Никогда не забуду того впечатления, которое произвела на меня английская колония после долгого странствия в бурю и проливной дождь по тайге. За мною к пристани был выслан изящный английский кэб, представлявший собой нечто совершенно несуразным на фоне мрачно дождливой таежной непогоды; он сломался на первой же версте пути. Я всю дорогу полувисел на сидении, обнимая кучера с длинным хлыстом за шею; вода обливала меня, как душ от головы до пяток; деревья силою ветра ломались то там, то сям; обратный путь нам пришлось совершать с партией дровосеков, шедших впереди нас и рубивших упавшие деревья; иначе двигаться по дороге нельзя было. И вот, из мрака, холода и дождя я вдруг попал в какой-то уголок Европы; хорошо освещенная, теплая, с хорошей мебелью комната, мягкое волохатое белье, прекрасный одеколон, великолепный ужин с закусками, ромом и винами, в желтой обложке современные романы, томный доктор в шезлонге, про которого я вскоре узнал, что в тайгу из Лондона его загнала неудачная любовь — все это было какой-то сказкой, а главное — жизнь, работа на приисках и вокруг них, как будто бы какой-то оазис в пустыне. Иностранный капитал, техника и русские рабочие — создали жизнь там, где десятки, а,

может быть, и сотни лет все еще было мертво. Колонизационный закон таков, что жизнь порождает новую жизнь: там, где появился какой-нибудь одинокий «заимщик», за ним потянется другой, тем более это относится не к отдельному человеку, а целому предприятию.

Я видел «заимки», окруженные уже поселениями; новоселы учатся у первого «заимщика»; он же их, обычно, презирует. Сибирский «заимщик» — это особый тип человека: сильный, здоровый, храбрый, он больше всего на свете любит самостоятельность и независимость от людей, которых ему заменяет природа. Он ищет далекого Л. 262 от селений места, приводит в культурное состояние участок земли, никому: ни правительству, ни отдельным людям не нужный еще, с величайшими трудами добывается пшеницы или арбузов там, где им, казалось бы, никогда не расти, и вдруг бросает с героическим трудом устроенное хозяйство, как только к его «заимке» приближаются поселения, идет дальше, как будто бы его провиденциальная роль — завоевывать природу. Это первый, добровольный переселенческий обследователь. Такие же «обследователи» изыскивают залежи золота в одиночном порядке; по их пути идут ученые геологи.

Геологические партии нашей экспедиции обследовали различные обширные районы на золото и каменный уголь, громадные залежи которого (бурого, впрочем) были найдены у самой линии строившейся железной дороги.

Общие же вопросы по золотопромышленности, равно, как вообще по торговле и промышленности, изучал представитель министерства торговли профессор-технолог А.Н. Митинский. «Купец, а не технолог», как живо и весело отрекомендовался он мне при первой нашей встрече. По свойствам своего характера, это был, действительно, типичный русский купец: умный, энергичный, жизнерадостный, наблюдательный, но я явно выраженным признаком «моему нраву не препятствуй», особенно, когда он для подъема своего настроения и работоспособности предавался отдыху за бутылкой вина. Он очень быстро приобрел громадную популярность среди представителей местных промышленников, особенно в приисковых районах; к большинству из них обращался на «ты», ругал их последними словами за косность и вообще разносил их при всяком удобном случае, что заставило их признавать безусловную авторитетность профессора. Как-то в ожидании владельца одного из крупных приисков, М. разделся и влез в реку, чтобы отдохнуть от жары; приехал владелец, обрадовался, что у него профессор и пошел его разыскивать; М. вышел к нему в костюме Адама, но тот, нисколько тоже не смущаясь, представился профессору, подал его мокрую руку и титуловал превосходительством. М. все свои выводы и наблюдения записывал немедленно, во всякой обстановке, на длинных полосах бумаги и в таком Л. 263. виде сдал свой отчет нам. Мне, как редактору всех трудов экспедиции, пришлось, в буквальном смысле слова, измучиться над разбором и приведением в систему этих разрозненных записей. Тем не менее, отчет М. был удивительно жизненен, интересен и мог служить для правительства почти исчерпывающей базой для направления нашей торгово-промышленной политики в Приамурье. Резко, не любя

стесняться в выражениях своих мыслей, раскритиковал, между прочим, М. отсталость хозяйственно-технических приемов на приисках Его Величества в Нерчинском округе. Управляющие ими преследовали обычно одну цель — дать доход не менее того, который давался их предшественниками, всякая затрата на улучшение дела увеличила бы этот доход в десятки раз, но, понятно, не сразу, а через несколько лет, может быть, уже при другом управляющем, а, следовательно, для личных целей данного управляющего представлялось невыгодной. Государя обманывали и не возмущаться этим нельзя было. Между тем, как я расскажу ниже, данные Митинского, подкрепленные и моими личными наблюдениями, введенная в составленный мною сводный отчет, явились одной из причин печального, лично для меня, конца моей работы на Дальнем Востоке.

Что касается собственно сельскохозяйственных работ, то, как и в других областях, они производились с одной стороны, специальными партиями ученых почвоведов и ботаников, изучавших новые районы, а с другой стороны, отдельными лицами, которым поручалась разработка того или иного специального общего вопроса. Во главе почвенных изысканий стоял глубоко преданный делу, многолетний сотрудник Переселенческого Управления, профессор Н.И. Прохоров; в его распоряжении находился целый кадр студентов и студенток. Я посетил, между прочим, самый северный пункт этих работ — Токмак на реке Зее близ границы с Якутской областью; там производилось изучение явлений, так называемой, вечной мерзлоты и опыты с посевами путем неоднократной перепашки местных почв. Один студент был оставлен экспедицией в этом пустынном, диком месте на всю зиму для заведывания опытной почвенно-метеорологической станцией. Когда я с ним прощался, мне было даже страшно за него: какая-нибудь серьезная болезнь и юноша без помощи мог бы пропасть. Помню, как я встретил там одного заболевшего аппендицитом студента; требовалась срочная операция; он пролежал в шалаше недели две в ожидании парохода и уже условился с одним лодочником о сплаве его вниз на лодке в ближайшую больницу, т. е. приблизительно, верст за 500 от Токмака, когда, случайно, подошел наш пароход.

На реке Зее, вверх от города «Зeya-Пристань» — центра золотопромышленности, правильных пароходных рейсов не было; приходилось, главным образом, пользоваться случайными пароходами, подвозившими продукты в приисковые районы. Я попал именно на такой пароход, лишенный всяких удобств и потерпел крушение при довольно юмористических условиях. Содержательница одного «веселого домика», выйдя замуж, решила переменить свою малопочтенную профессию на более красивое занятие: купила небольшой весьма старый пароход, погрузила его рисом, в двойной против грузоподъемности парохода норме, и отправилась для продажи этого продукта в приисковые районы вверх по Зее. Чтобы не терять времени в ожидании лучшего парохода, я оказался среди немногочисленных пассажиров его с сопровождавшим меня стражником; несколько рабочих, китайцев, баб с детьми, да громадный старый таежник-золотоискатель, несомненно, на душе своей имевший несколько убийств,



составляли, кроме хозяев, все наше пароходное общество. Духота, грязь и вонь были очень тяжелы, но я радовался тому, что ускоряю свое прибытие в Токмак; мне предстояло еще проехать по краю несколько тысяч верст и на лошадях, и на пароходах, и на лодках; понятно, приходилось дорожить каждым днем летнего времени. Я сразу же обратил внимание на чрезвычайную загроможденность парохода: вода была совсем близка к его бортам. На другой день рано утром, когда я вышел на палубу, я был изумлен тем, что вечерний скалистый пейзаж реки, которым я любовался накануне, не изменился. Я подумал, не простояли ли мы ночь на какой-нибудь пристани. Капитан объяснил мне, что мы проходили через перекаат «Разбойник» и что сейчас мы подходим к другому перекаату по имени «Владимир»; переход совершается так: на берег забрасывается канат, его привязывают к прибрежной сосне и наматывают затем канат медленно и осторожно на пароходную лебедку; таким примитивным способом пароход Л. 265 подтягивается от одного дерева к другому, делая за часов десять версту-две. Перед «Владимиром» мужчинам предложили выйти на берег; остались на пароходе бабы с детьми, таежник и я, потом только понявший почему мой компаньен-стражник так горячо убеждал меня пройти пешком по берегу. Я стоял рядом с капитаном, молодым человеком, довольно наглой наружности. Ему хотелось показать мне свой опыт и ловкость. Он самоуверенно цедил через зубы, когда канат подтягивал пароход: «все дело сводится в этих случаях к искусству капитана; неопытный человек не проведет благополучно пароход; надо следить, чтобы пароход шел по прямой линии, так как по бокам острые подводные камни; если пароход сядет на такой камень, то, в виду канатной привязи, его ставит поперек течения, и тогда — конец; полетишь вверх дном». Как только он кончил это объяснение, произошло как раз то, чего, по его словам, должен и может избежать опытный судоводец: мы почувствовали два-три сильных толчка в дне парохода, и его медленно стало разворачивать поперек реки. Бледный, как стена, капитан, потерявший всю свою самоуверенность, бросил руль и совершенно растерянно крикнул: «теперь мы погибли», а потом начал вопить по направлению к матросам, стоявшим у сосны: «руби канат, руби канат, сволочи!» На пароходе начался невообразимый плач баб и детей. Передо мною мелькнуло бледное, жалкое лицо свирепого «таежника»; у него тряслись губы и руки. Я, как всегда на воде, по давней с детства привычке к ней, был совершенно спокоен; крикнул машинисту, чтобы он загасил топку и подошел к борту, выискивая место, куда прыгнуть, надеясь вплавь достигнуть берега; я забыл, что Зeya — не родной мой Днепр и упустил из виду, что в этом случае меня сразу же разбило бы о камни, как на всяком сильном водопаде. Через пять минут мы были у берега на пароходе, погруженном в воду до верхней палубы. Вопреки предсказаниям капитана, мы, к счастью, не перевернулись, так как канат лопнул или был разрублен, пароход Л. 266. от этого быстро описал дугу, понесся стремительно вниз по течению, колотясь о камни и почему-то оказался у берега, носом снова вверх по течению. Началось вылавливание багажа, затопленного в каютах; мне удалось вытянуть мой чемодан. Затем долго вылавливали матросы мешки

с погубившим нас рисом; его раскладывали тонким слоем вдоль берега. Хозяйка парохода с мужем сидела на берегу, плакала навзрыд и причитала: «видно, Бог не хочет, чтобы мы занимались пароходным делом», предполагая, вероятно, что перегрузка по ее собственной жадности парохода было делом Божьего вмешательства в ее дела. Среди скал Зеи табор наш со складом разнообразного багажа и риса был очень поэтичен: мы напоминали каких-то контрабандистов. «Таежник» на мой вопрос чего он так перетрусил, довольно наивно ответил мне: «вам хорошо говорить так, вы, видно, человек привычный», а, между тем, человек в тайге, по словам знавших его лиц, не раз смотрел спокойно в глаза смерти. Так уж относительно понятие храбрости. Было очень досадно сознавать, что можешь потерять очень и очень много времени; по словам некоторых, мы могли сидеть на берегу в ожидании парохода и неделю, и две, но судьба сжалилась надо мною, и я продолжал свое путешествие на более культурном пароходе уже вечером того же дня; только проход перекатов я уже совершал пешком.

На всех станциях профессора Прохорова я наблюдал любовное, порою даже близкое к экстазу, искание знания местных условий нашей учащейся молодежи; всходы, например, пшеницы, там, где она еще не культивировалась, приветствовались с таким восторгом, как появление на море долгожданной земли.

Из работ по сельскому хозяйству отдельных членов экспедиции я должен особо отметить, не останавливаясь на подробностях, следующие. С.П. Шликевич, принявший охотно участие в экспедициях, уже будучи в отставке, дал, на основании собранных им лично и другими сотрудниками историко-экономических данных, очень интересную, тонко продуманную монографию о земледелии в Приамурье, в его настоящем состоянии и в отношении видов на будущее. Эта монография должна была бы служить исходной базой в нашей земледельческой политике на Дальнем Востоке. Она Л. 267. обосновала разрозненные взгляды на невозможность прочного закрепления за Россией Приамурского края при посредстве чисто крестьянской колонизации, без одновременного торгово-промышленного развития края и без создания из Приамурья особой колонии, так сказать «Желтороссии», которая рядом государственно-экономических выгод была бы прочно спаяна с Россией.

Наличность этой, основанной на данных опыта и проверенных цифрах, работы должна бы исключить на будущее время возможность повторения таких фантастических проектов наших некоторых кустарных колонизаторов, как генеральный штаб военного министерства, который предлагал как-то, кажется, в 1907 году запретить переселение в Сибирь, разрешая его только в Приамурье, дабы ускоренным темпом уплотнить здесь русское население. Что-то в этом роде писал и бывший петербургский градоначальник Клейгельс, записка которого по переселенческому делу, поданная им прямо Государю, пройдя различные высшие инстанции, была передана на мое заключение, как начальника дальневосточного отделения; я испросил через Г.В. Глинку разрешение министра принять его безграмотное произведение к архивному делу, дабы не терять непроизводительно время

на его критику. Теперь добытые знания и опыт могут быть снова надолго потеряны, возможность появления фантастических предположений о колонизации наших окраин не исключается и труд С.П. Шликевича надо рекомендовать в первую голову всякому, кто хочет подойти к нашей дальневосточной проблеме.

Кроме этой основной работы Шликевич собрал и систематизировал материалы о нашем пушном промысле и торговом.

Другую фундаментальную и первостепенную научно-фантастического значения работу по земледелию представил труд переселенческого агронома Крюкова. Сведения о годных для земледелия районах Забайкальской, Амурской и Приамурской областей, их географическое и естественно-историческое описание, были разбросаны в многочисленных, большей частью не печатных, отчетах различных «производителей работ» переселенческого ведомства и других специалистов. Систематизировать, обработать весь имеющийся материал, дополнив его новыми данными, полученными партиями Л. 268. экспедиции, и было поручено Крюкову. Его труд, около 500 печатных страниц, надо рассматривать как настольную книгу по земледельческой колонизации Приамурья. Пригодный для земледелия запас земель в названных трех областях был исчислен, на основании точных данных, в несколько миллионов десятин (кажется, до трех) и то при условии производства, конечно, некоторых мелиораций, преимущественно гидротехнических, но ни в каком случае не в несколько десятков миллионов, как хотелось бы некоторым мечтателям, думавшим, что употреблением русского крестьянского населения разрешается сложный вопрос о борьбе нашей с желтой опасностью; поэтому уплотнению ставился предел естественными условиями края: 200 000 душ м.п. русского крестьянства на громадной территории нашего громадного Д. Востока (считая до 15 дес. на душу) не могли быть оплотом против миллионов китайских переселенцев, которых могла принять Маньчжурия. Снова становилось ясно, а для нас просто подтверждалось, что для удержания Приамурья требуется ряд смелых широких колонизационных мер, а не одна земледельческая его колонизация, т. е. нужна правильная работа всех, а не одного Переселенческого Управления. Что было нужно самое главное в этом отношении — об этом ниже. Интересно только отметить, что разнообразные труды Амурской экспедиции, языком опыта и цифр различных авторов, неизбежно приводили к одному заключению, к одинаковым выводам.

Параллельно с изучением новых районов в экспедиции, шло подробное изучение существенных переселенческих и старожилых поселений.

Амурская и Приамурская области были в этом отношении обследованы подробно по весьма широкой программе особой статистической партией. Во главе партии стоял известный русский статистик С.П. Швецов, социалист по его партийной принадлежности. Партийность, когда приходится работать над живым делом научными методами, никогда не отразится отрицательно, по моему глубокому убеждению и опыту, на результатах работы. В нашей Думе и в прессе партийность вырождалась в политиканство, в антигосударственные и антиобщественные тактические приемы, в

действительно же рабочей среде, надлежащим образом руководимой, партийность Л. 269. побеждается интересом и целями работы. Я вспоминаю, как такой глубокий консерватор, каким был бывший иркутский генерал-губернатор Селиванов, герой Перемышля и единственный, кажется, генерал, отказавшийся присягнуть временному правительству в 1917 году, отстоял нашего энергичного руководителя переселенческим делом в Забайкальской области Д.М. Головачева. Департамент полиции требовал его удаления с государственной службы; после долгих безуспешных препирательств Г.В. глинки, дорожившего работой Головачева, его спас Селиванов, заявивший, что он берет на свою личную ответственность наблюдение за Головачевым. Старорежимная бюрократия умела извлекать деловые выгоды из опыта и знаний всех, кто хотел и умел работать, как Петр Великий, по недостатку интеллигентных сил, пользовался в Сибири услугами, сосланных туда преступников, требуя от них административной работы на пользу края. Старое правительство никогда не могло бы дойти до такого безумия, как наши временные правители, гнавшие массами опытных судей, даже офицеров, при заведомом их недостатке и отсутствии равноценных заместителей. Отдельные случаи ухода из России некоторых ученых по причинам политическим, обращали на себя внимание прессы, о них кричали, как о признаке мракобесия, но отдельный случай не есть правило, это не равносильно тому разгрому, который производится в России с 1917 года.

Я высказал это, чтобы оправдать перед сомневающимися совершенно сознательное приглашение нами, т. е. Гондатти и мною заведомого социалиста Швецова в состав экспедиции. По возвращении в Петербург он был арестован, впрочем, кажется, ненадолго, но ценные научно-статистические обследования, произведенные его партией в Приамурье, в значении и в качестве их от этого несколько не пострадали. Все пять (кажется) больших печатных томов этого обследования всеми своими цифрами и выводами подтверждали блестящее прочное положение крестьянского сельского хозяйства на Дальнем Востоке и опровергали излюбленные нашей левой прессой ламентации по поводу жалкой судьбы переселенца.

Отдельно велось в экспедиции обследование животноводства. Работало два специалиста Лемперт и Чупаев. Они дали ценные указания на пути и способы улучшения скота и лошадей в Приамурье.

Наконец, надо еще сказать, что экспедицией собран был большой материал о ходе китайской колонизации в соседней с нами Манчжурии и по вопросу о распространении на Приамурье земского самоуправления.

По первому вопросу работал представитель иностранных дел В.В. Граве, приятный, корректный, как все наши дипломаты, молодой человек, с которым быстро установились хорошие, почти дружеские отношения, но, вопреки качеств многих наших дипломатов, относившийся с большой серьезностью к порученному ему делу. Он объехал верхом многие китайские поселения в Манчжурии и дал интересный обзор мер китайского правительства по заселению пустующих земель. Должен попутно сказать, что земледельческий класс Китая, так мало известный русским людям, производил на меня всегда, при посещении китайских деревень, по его работоспо-

собности, кротости и нравственным устоям самое хорошее впечатление. Европа много приобретет когда-то, может быть и в недалеком будущем, от сближения с настоящим китайским населением, а не его, конечно, отбросами, которые теперь служат большевикам. Как высоко ценится нравственная личность в Китае сама по себе, независимо от ее скромного общественного положения, я сужу уже по надписи на одном памятнике, перевод которой я получил, кажется, от В.В. Граве. Памятник был поставлен по повелению императора в честь женщины, которая, отказавшись от личного счастья — от замужества, всю свою жизнь посвятила воспитанию многочисленных своих малолетних братьев и сестер, поставила их на ноги, вывела в люди. Надпись эта содержала подробное трогательное описание жизни женщины, исполнившей свой долг самопожертвования.

Вопрос введения в Приамурье земства натыкался всегда в своем решении на то нелепое заблуждение, которое, как и масса других ошибочных выводов о русской жизни вообще, покоилось на пристрастии наших ученых, публицистов, а за ними и правителей, к так называемым средним цифрам. Делят различные цифровые данные на всю площадь России и приходят в ужас, как относительно мало развита у нас сеть железных дорог по сравнению с Л. 271. Европой, даже каким-нибудь балканским государством и т. п.; как будто бы живая часть России и ее необъятные тундры и леса — одно и то же. То же, чисто механическое деление численности населения и его подхожденной платежеспособности на громадные пространства дальневосточных областей приводило к сомнениям, как же справиться земство с такими пространствами, какими материальными средствами и личным составом обслужить ему, например, 37 миллионов десятин земли Амурской области. А, между тем, заселенная земледельцами часть этой области, два-три громадных уезда, по плотности населения, так же, как и значительная часть Уссурийского края, не уступали такой старо-земской крестьянской губернии, как Вятская.

Член экспедиции В.А. Закревский объехал почти все волосные управления Приамурья и на местах собрал и систематизировал все подготовительные для введения земства данные о сельских сборах и повинностях. Его материалы, снабженные решительными доводами в пользу земского самоуправления в Приамурье, составили большой печатный том в несколько сот страниц.

Очень характерны для нашего старого времени условия, в которых начал в Петербурге обработку своих материалов этот чиновник, далекий мне по некоторым личным свойствам, но глубоко уважаемый по честному исполнению своего долга. Мы жили с ним, во время печатания трудов экспедиции, в одной гостинице, так как столичную квартиру свою я, вследствие продолжительности командировки, оставил. Перед обедом или вечером Закревский заходил в мой номер рассказать, как подвигается его работа. Иногда я звал его пообедать или поужинать вместе, но он отказывался, говоря, что зван к знакомым. Я обратил внимание, что с каждым днем Закревский становится все хуже и бледнее. На мои расспросы о здоровье он отвечал, что устает от работы. В конце-концов выяснилось, что попросту

Закревский голодал. Секретарь экспедиции Ф.В. Болтунов узнал случайно, что Закревский обедал очень редко и ел, обычно, один раз в день горшочек простокваши за 10 копеек. Содержание по экспедиции дополнительное к основному, было прекращено для Закревского с первого, кажется, мая, работа же его затянулась еще на несколько месяцев, на жалование его, как неперменного члена губернского присутствия, проживала в Сибири его семья и ему в Петербурге можно было существовать только при крайней экономии. Бросить работу не закончив или скомкав ее, не проследив самому за корректурами, Закревский не хотел и предпочитал жить впроголодь. Я испросил ему из запасных средств пособие, но знаю, что не будь этого — он все равно доделал бы свою работу до конца.

Все полезные работы экспедиции, как я упоминал выше, сопровождались в новых районах производством военно-топографических работ. Неудачный выбор руководителя ими не повлиял на ход работ так как почти все офицеры-топографы, во главе со старшим из них, милейшим полковником Ладновым, в высшей степени добросовестно и с интересом относились к работе; помимо новой съемки, топографической партией был дан систематизированный список всех имеющихся в крае астрономических пунктов. Один штаб-офицер, фамилии которого я, к сожалению не помню, погиб от выстрела какого-то хулигана в самом начале полевых работ.

О работе моей с офицерами военно-топографического корпуса я всегда вспоминаю с чувством живой благодарности и искренней теплоты.

Перехожу, в заключение, к моей личной работе. Я уже говорил, что я был назначен управляющим делами экспедиции, т. е. на мне лежала, прежде всего, чисто канцелярская работа: разассигнование средств, распределение личного состава, проверка денежной отчетности, затем общее редактирование большинства печатных трудов экспедиции и составление единого сводного отчета с общими выводами и колонизационным планом. Вся моя канцелярия состояла из одного секретаря, Ф.В. Болтунова, чрезвычайно старательного, необразованного, но от природы очень неглупого, способного чиновника, требовавшего, однако, бдительного над ним надзора, во избежании вольных и невольных с его стороны ошибок; для переписки имелась одна, порою две машинистки; для отправки почты — пьяница сторож-сибиряк, который очень обижался, когда я его упрекал за нетрезвый вид, и категорически заявлял мне, что он уже потому не может пить, что ему давно это запрещено докторами. Вот и все — все наши канцелярские силы. Ясно, что работы было по горло. Гондатти очень внимательно относился к делу; ежедневно посещал канцелярию (зимой, когда все мы вернулись с полевых работ), лично проверял денежные книги и т. п. Какую канцелярию при масштабе работ экспедиции развело бы новое правительство России, можно себе легко вообразить!

Всякие формальности, особенно контрольные, были доведены мною до минимума, что легко было сделать при таком, далеком от формализма, начальнике, как Гондатти. Ревизуя денежную отчетность я руководствовался степенью возможного доверия к данному лицу. Например, когда Болтунов обратил мое внимание на подозрительность больших расходов



одного землемера, представлявшего внешне блестящую отчетность, так любимую нашим государственным контролем, я, несмотря на то, что стоимость купленной и проданной им партии лошадей подтверждалась даже нотариально засвидетельствованными документами, попросил Б. переговорить сначала частным образом с землемером, предложив ему сократить все расходные документы в два раза, а при отказе исполнить это — пригласить ко мне. Предложение мое было исполнено беспрекословно и нотариальные документы исчезли, а были даны обыкновенные расписки, соответствующие ценам других однородных агентов экспедиции. Отсутствие формализма дало возможность секретарю экспедиции составить обстоятельный финансовый отчет, в котором точно была исчислена стоимость единицы каждой отдельной нашей операции. Отчетность наша и финансовый отчет Болтунова не вызывали никаких замечаний со стороны государственного контроля.

Так как кроме обязанностей управляющего делами, я одновременно являлся в экспедиции и представителем Главного Управления Землеустройства, то я объезжал работы различных наших полевых партий, а кроме того, по соглашению с Гондатти, выполнил два чрезвычайно интересных поручения: 1) обследование нужд района г. Николаевска в устье Амура, как конечного пункта влияния амурской железной дороги, от последней станции которой — г. Хабаровска было всего около 800 верст водного пути до выхода Амура в Татарский пролив, а отсюда в Тихий океан и 2) окончательное установление пунктов на линии железнодорожной магистрали, где можно было рассчитывать прочное устройство торгово-промысловых, городского типа, поселков.

Обе эти работы в колонизационном и бытовом отношении настолько интересны, что я остановлюсь на них несколько подробнее.

Вопрос о том, имеет ли выход река Амур в открытое море или нет, являлся краеугольным в деле решения Императора Николая I закрепить русский флаг на этой окраине. Ряд ученых экспедиций давал отрицательный ответ на вопрос об устье Амура. Последняя, особо авторитетная в ученом отношении, академически-немецкая экспедиция, категорически заявила, что Сахалин полуостров, что Амуру нет выхода в океан. Николай I на докладе экспедиции положил простую, но высоко проникновенную резолюцию: «не верю». Чутьем каким-то император угадывал то простое, чего не могли понять ученые. Их ошибки объяснялись просто: Амур, т. е. его фарватер так извилист, узок и сравнительно мелок в устье, что только после тщательного изучения удалось составить его так, чтобы суда не застревали на мели; лиман Амура это какое-то громадное мелкое озеро; первое впечатление — продолжение материка до Сахалина. Проявился великий фанатик Амурской идеи — капитан Невельский; он всю свою жизнь отдал поискам выхода из Амура и присоединению Приамурья к России, стремление к чему длилось сотни лет в лице наших казаков, продолжателей дела Ермака, во главе с знаменитым Ерофеем Павловичем Хабаровым. Правительство Николая I не сочувствовало планам Невельского; его поддерживал только Царь, который писал ему: «действуй смело, я стараюсь

защитить тебя перед министрами». Невельский доказывал, что обладание устьем Амура дает выход России в Тихий океан, т. е. на ту мировую арену, где страдающая от тесноты Европа будет решать судьбы своих великих держав; великодержавная миссия России требовала безусловно обладания нашего Приамурьем. Невельский самовольно, если не считать нравственной поддержки его Николаем I, водрузил русский флаг в устье Амура и основал город Николаевск. За это ему поставлен памятник во Владивостоке, но при жизни он подвергся служебным преследованиям, от которых его не мог оградить даже Самодержец. Правительство, не имея чутья на будущее, считало, что Николай I вовлекся на путь авантюр, могущих вызвать политические осложнения. В делах Д. Востока наше правительство, к сожалению, систематически отличалось глубоким невежеством, значение которого смягчалось инициативой и энергией только отдельных лиц; во главе их стоит император Николай I и исполнители его заветного желания: капитан Невельский, защитник и проводник мысли о государственном значении для нас Приамурской окраины, а затем граф Муравьев-Амурский, первый устроитель и колонизатор Приамурья, и граф Н.П. Игнатьев, дипломатический мирный завоеватель Уссурийского края.

Итак весь смысл, все оправдание наших усилий занять устье Амура заключалось в глазах Николая I в том, что эта река могла нам дать выход в океан.

Что же пришлось нам увидеть на месте? Какое претворение идей царя?

Обмелевший приморский фарватер Амура, затруднявший вход в его устье мало-мальски крупным судам, которые при дальнейшей глубине реки могли бы без перегрузки доходить до самого Хабаровска, т. е. на 800 верст вглубь материка. Редчайшее качество речного пути! Изыскания на производство работ по углублению Амурского бара были произведены инженером Чубинским и др., но денег на их осуществление не находилось. Мало того, военное ведомство в этом богатейшем промышленном районе, где завязывалось наше экономическое состязание с японцами, решило создать, по чисто теоретическим соображениям, крепость. Начались различные стеснения, обычные для укрепляемого района. Суда могли проходить через него только в определенное время дня, некоторые участки запрещалось отводить под поселения, опротестовывались предложения переселенческого ведомства о проведении той или иной грунтовой дороги от крестьянских промысловых участков к городу, да и вообще вглубь материка. Одним словом, военное ведомство придерживалось такой линии поведения, что казалось будто бы мы заняли Амур с специальными целями решать различные стратегические задачи, а не для политическо-экономической эксплуатации всех тех выгод, которые давало нам обладание рекой. Колонизаторы говорили о необходимости улучшить, развить сообщение Приамурья с океаном, а генеральный штаб, поглощенный решением безжизненных теоретических задач, в ожидании какого-то неведомого врага, изыскивая способы, как бы получше Л. 276 заградить вход в Приамурье со стороны моря. Помню, что Гондатти, будучи уже генерал-губернатором, остро спорил с приехавшим на Д.Восток военным министром Сухомлиновым по этому вопросу. Спор закончился фразой Г., сказанной министру, уже сидевшему в вагоне отхо-

дящего поезда: «Ваше Высокопревосходительство имеете передо мною только одно преимущество: то, что Вы первым будете говорить с Государем Императором». И действительно, в конце-концов, колонизационно-государственная точка зрения победила: нелепый и вредный проект военного укрепления устья Амура был оставлен.

Однако во время изучения мною положения и нужд Николаевского района, спорный вопрос стоял во всей его остроте.

Плохо обстояло дело и с другими отраслями нашей колонизационной политики на этой окраине.

Развитие русской рыбопромышленности, сделавшей к тому времени уже громадные успехи, не соответствовало мощности наших промыслов. Я не могу останавливаться на их подробном описании; скажу только, что не бывшему на этих промыслах трудно себе даже вообразить всю их громадность: ход кеты представляет из себя потрясающую картину. Один местный старожил в своем обращении к экспедиции метко напомнил нам, что из-за промыслов меньшей емкости происходили не раз мировые войны. Ведомство землеустройства имело удовлетворительный надзор за правильностью производства промысла; заблаговременно поставило на научную почву изучение жизни кеты, устроило завод искусственного ее разведения для пополнения запасов, так как другим государствам были уже известны случаи внезапного истощения даже богатых запасов, без правильных мер предосторожности и т. д. Наши рыбопромышленники проявляли большую инициативу и энергию; способы лова совершенствовались, начали появляться рефрижераторы — для хранения запасов рыбы в замороженном виде, начиналось консервное дело. Во всяком случае приемы работы русских предпринимателей и японцев, получивших после войны право на участие в эксплуатации наших промыслов, отличались как небо от земли; грязный, небрежный, с пользованием низших сортов соли, засол кеты японцами не давал им возможность даже мечтать о заграничном экспорте. Русская же кета пробилась себе путь в Европу, в особенности на рынки Лондона. Но культурной работе одного нашего ведомства и энергии промышленников было недостаточно. Требовалось, чтобы и в прочих частях управления дело было согласовано с реальными насущными его нуждами. Между тем, другие ведомства или бездействовали, или вредили. Промышленности нашей нужен был кредит; а в Николаевске ведомство финансов упорно не желало открыть отделение Государственного Банка, хотя бы на время промысловых работ; русские промышленники находились в зависимости, главным образом, от японского кредита, что упрочивало влияние у нас Японии. Железнодорожные тарифы на экспорт рыбы были таковы, что делали невыгодным вывоз ее в Европейскую Россию; не хватало хорошей соли; административный центр района — г. Николаевск, в который стекались на время промыслов массы пришлых рабочих, где находились конторы предприятия, в административно-судебном отношении был совершенно не устроен: на северной половине Сахалина имелся ненужный там губернатор, в Николаевске же малочисленная полиция не справлялась даже с мелким текущим своим делом; в пустынной Камчатке учреждался

преждевременно окружной суд, а в Николаевске не было даже отдельного товарища прокурора; в случае надобности он вызывался из Владивостока — около недели пути и т. д., и т. д. Колонизационного плана не было, была разрозненная деятельность ведомств, ибо побережье рассматривалось не как колония величайшей ценности и значения, а как обыкновенный захолустный уезд.

Все, что я видел, наблюдал, объезжая Амурский лиман и Охотское побережье, я запечатлел в своем специальном отчете «о нуждах Николаевского района Приморской области», составившем особый печатный труд экспедиции.

Между прочим, в моем отчете мне пришлось коснуться еврейского вопроса — это и послужило главным основанием недовольства мною.

Я знаю, какие острые споры возбуждает всегда этот вопрос, как трудно говорить о нем, в особенности теперь, когда русское общество справедливо раздражено современным еврейским засильем в России. И тем не менее, я не имею ни причин, ни нравственного права отказываться от того, что писал в 1911 году.

Колониальная наша политика, как везде и всюду, для ее успеха не может строиться на узко-национальных началах; она должна, по моему глубокому убеждению, идти путями американскими. Всякий полезный работник, будь это эллин или иудей, должен быть использован колонией, в особенности же такой, как наше Приамурье, где, с одной стороны, быстрое массовое заселение края недостижимо, в виду наличности ближайших к метрополии богатых запасов земли в Западной Сибири и т. п., а с другой стороны — наши соседи Китай и Япония, находясь, находясь географически в более благоприятном положении по сравнению с нами, легче могут укреплять свое политическое и экономическое влияние в пустующих районах. Отсюда была ясна для меня необходимость закрепления русского влияния на Дальнем Востоке по признакам подданства, хотя бы даже поселением тех же желтых, например, корейцев, не говоря уже, конечно, о евреях и при помощи иностранных капиталов безвредных нам держав, в первую очередь, конечно, американских. Это мой колонизационный «символ веры», от которого я никогда не отступал и не отступлю.

Между тем, обще-уездная, а не колонизационная политика нашего ведомства внутренних дел сделала то, что как раз в бытность мою в Николаевске на Амуре здесь был получен общий циркуляр о переселении евреев к местам их приписки. Министерство колонии, без сомнения, такого циркуляра никогда не издало бы, так как оно знало бы, что видел я на месте, а именно, что главную массу рыбопромышленников Охотского побережья составляли евреи — преимущественно совершенно обрусевшие, и не знающие даже жаргона, потомки ссыльно-поселенцев; что с ними, с их работой связывались интересы десятков тысяч русских рабочих, что их места неизбежно должны были занять иностранцы-японцы; что местом приписки их являлись почти для всех другие города той же дальневосточной окраины, почему, например, на место еврея, проживающего в Николаевске, прибыл бы еврей из Благовещенска и наоборот, но с той только разницей, что

вновь прибывший и уехавший были бы оторваны от привычной, полезной для нашей окраины, работы. Я резко по телеграфу опротестовал полученный циркуляр перед генерал-губернатором, который на свою ответственность приостановил Л. 279 его действие.

Все изложенное побудило меня высказаться в своем отчете за представление евреям г. Николаевска равноправия в местном городском управлении, а некоторым органам печати дало повод подозревать меня в подкупности.

Другая работа по устройству городских поселков на линии Амурской железной дороги дала мне большое нравственное удовлетворение, так как результаты моего участия в ней я имел счастье видеть собственными глазами, что удается в жизни редко. Впрочем, должен сказать, что многие из предположений по Николаевскому району были также осуществлены по настояниям дальневосточного совещания: отброшены стратегические упражнения военного ведомства, даны средства на углубление Амурского бара, упразднено Сахалинское губернаторство и учреждено Николаевское, пересмотрены железнодорожные тарифы на экспорт дальневосточной рыбы.

В первое же лето работ экспедиции на линию Амурской железной дороги был командирован энергичный переселенческий чиновник Приморской области А.К. Григорьев с партией землемеров, которому было поручено описать и произвести съемку всех поселений и удобных для них мест при будущих крупных станциях дороги: при депо, пересечении железнодорожной магистрали больших рек, приисковых шоссе и т. п.

Затем, руководствуясь сделанным описанием поселков, я совершил их объезд, с целью зафиксировать те из них, которые обещали прочное развитие и выработать отвечающие местным условиям правила отвода поселениям усадебных участков.

Поездка моя сопровождалась многими интересными приключениями, встречами, впечатлениями.

Ехать приходилось по отвратительным проселочным дорогам или по служебной времянке, наскоро устроенной, с глинистым грунтом, с гатями через обширные болота.

Весь путь находился как бы на военном положении: постройка большой дороги привлекла не только местных, но даже иностранных разбойников-грабителей, например, из Кавказа и из Турции. Грабежи и убийства были постоянным явлением. В одном поселке я обратил внимание на массу столовых; что ни изба, то вывеска — «столовая», «отпускаются обеды» и т. п. Столовых было, вероятно, столько же, сколько и семей, проживавших у станции; везде восточные физиономии. Ясно было, что содержание столовой это только ярлык для легального права проживания. По сношении с губернатором был произведен арест всех рестораторов, и я в их компании ехал до Читы, откуда они последовали к себе на юг, на далекую родину. Ночевать часто приходилось под открытым небом в повозке, но ящики в таких случаях отъезжали очень далеко от магистрали, в сторону.

Первый поселок был как раз в том диком месте, где за два года перед этим я с Иваницким видел подготовительные к постройке дороги работы.

Он был назван по имени железнодорожной станции «Ерофей Павлович» в честь Хабарова, фамилию которого носит конечный пункт Амурской железной дороги — г. Хабаровск.

Странное ощущение, понятное только людям увлеченным колонизационной работой, владело мною, когда я обедал в этом поселке в ресторане под звук небольшого оркестра и бильярдных шаров в соседней комнате. Матери, вероятно, испытывают подобное чувство, следя за подрастанием своих детей.

Всего прочных торгово-промысловых поселков по линии Амурской дороги возникло до 30; благодаря заблаговременным межевым работам экспедиции удалось предупредить их обычно хаотическое, беспорядочное заселение.

Наиболее интересный пункт представила из себя упоминавшаяся иною знаменитая «Суражевка», с одной душой обоего пола: пересечение здесь железнодорожной магистралью мощной реки Зеи, впадавшей в Амур у Г. Благовещенска, то обстоятельство, что именно от Благовещенска Амур полноводен, экономическое тяготение к этому пункту приисковых районов — все это указывало на возможность создания здесь крупного городского центра. Поэтому, Гондатти и я посетили Суражевку в самом начале полевых работ. Шел дождь, мы с трудом по липкой глине обходили неудачный переселенческий участок и я живо помню, как Гондатти, уйдя вперед, начал звать меня: «идите скорее сюда, какой дивный вид на Зею; этот лесок обязательно надо сохранить для городского парка». Я охотно поспешил к Гондатти, но так Л. 281. увяз в глине, что кучерам пришлось меня вытаскивать. Распланировку будущего города решено было произвести согласно позднейшим научным данным: улицы шли от торгового центра города радиусами; были сохранены, конечно, все насаждения, необходимые для будущих скверов. Переселенцы-сураженцы, приехавшие сюда по совету своего земляка-пионера, получили усадьбы, но полевые земли им были отведены наново, в другом месте.

Через год я снова был в Суражевке; на месте пустыни и грязи я увидел уже магазины, парикмахерские, кинематографы. Пьяные суражевцы сдавали свои усадьбы по баснословно высоким ценам в аренду; они стали жертвой неожиданного для них благополучия, но нарождалась, вместо землепашества, новая городская торгово-промышленная жизнь.

К следующей зиме был одобрен составленный мною проект льготной продажи усадебных участков на Суражевском переселенческом участке, и через год здесь был уже довольно оживленный уездный город, получивший, с высочайшего соизволения, в честь Наследника Цесаревича, название «Алексеевск», а во время смуты, отнявшей у российских граждан все свободы, переименованный в «Свободск».

Описание всех железнодорожных поселков вошло в общий сводный отчет экспедиции и в составленные А.К. Григорьевым и дополнительно мною специальные очерки, причем очерк Григорьева появился в печати, а мой остался в рукописи.



Все печатные труды Амурской экспедиции составили свыше двадцати пяти больших томов, не считая различных карт и чертежей, на издание которых не хватило средств. Ценный картографический материал хранился (цел ли теперь?) в музее Управления водных путей Амурского бассейна. Гондатти, получив назначение на должность генерал-губернатора, срочно уехал из Петербурга, не успев даже прочесть общий сводный отчет; подпись его на нем я получил по телеграфу. Мне же пришлось представить все печатные труды экспедиции Председателю Совета Министров и доложить ему подробно о результатах и выводах наших работ. Это был единственный случай, когда я долго разговаривал с покойным П.А. Столыпиным, оставившим во мне большое впечатление. Принят я был около пяти часов Л. 282. вечера. Я боялся, что утомленный очень большим в тот день приемом самых разнообразных провинциальных деятелей, Столыпин отнесется недостаточно внимательно к моему специальному докладу. Я был поражен бодрым видом Столыпина, хотя он за весь день, по словам дежурного чиновника, ни одной минуты не отдыхал и стоя раз только перекусил. Столыпин внимательно прочел подробное оглавление всех трудов Амурской экспедиции. Читая, он задавал ряд вопросов, требовал подробных объяснений. Особенно заинтересовался работой агронома Крюкова о земельных запасах Приамурья, и вообще сразу было видно, что главные колонизационные надежды он возлагал на наше крестьянство. Он правильно учитывал значение крестьянского переселения, как единственного способа массового заселения русскими людьми пустующих окраин. Но, как я уже говорил выше, такой взгляд был односторонен, не осуществим по естественно-экономическим причинам, т. е. не осуществим в тех, конечно, размерах, которые давали бы нам уверенность в прочном удержании Приамурья под нашим влиянием. Угадывая, по вопросам Столыпина, его заблуждение в оценке этого дела, которое так широко было тогда распространено в наших правительственных кругах, я искал случая, чтобы высказать свои соображения. Повод к этому подал сам Столыпин, в свою очередь, видимо, догадавшийся, что моя точка зрения — иная. «Ну, вот Вы близко ознакомились с нуждами нашего Дальнего востока, скажите же мне, что, по вашему мнению, самое главное для того, чтобы нам сохранить этот край за Россией». Я ответил: «самое главное это — правильная внешняя политика». Столыпину мой ответ был не по душе; он живо, с легкой даже резкостью, возразил мне: «я совершенно с вами не согласен, прежде всего надо уплотнять в Приамурье русское население, и этого можно достигнуть только переселением землепашцев — это самое главное». Я, задетый за больное место, встретив возражения против того, что составляло мое глубоко-продуманное убеждение, понимая какое практическое значение имело бы перевести главу правительства на правильный широкий колонизационный путь, начал горячо возражать, доказывать, что земледельческое переселение Л. 283. — это только одно из звеньев общего колонизационного плана, важнейшее, но не самое главное, ибо, пока мы поселим в Приамурье каких-нибудь двести тысяч крестьян, могут произойти такие мировые события, при которых, без политического союза с нашими желтыми

соседями и тесной экономической связи с Америкой, мы не справимся с нашей исторической миссией на Д. Востоке. Столыпин задумался и потом уже приветливо сказал буквально следующее: «я получаю отпуск на два месяца; я даю вам слово, что все это свободное время мною будет отдано изучению трудов Амурской экспедиции, и тогда, я надеюсь, у меня будет окончательное представление об этом важном государственном деле».

Я слышал от лиц, близко знавших покойного нашего премьера, от массы лиц, говоривших с ним о различных местных делах, что он чрезвычайно добросовестно изучал всякое дело и никогда не действовал по дилетантски, как, например, его заместитель по должности министра внутренних дел Маклаков; он решительно не мог бы, подобно последнему, не знать, что нет железнодорожного пути от Камчатки до Петербурга. Я был уверен, что Столыпин свое слово сдержит — это был человек, которому нельзя было не верить, даже при мимолетном знакомстве с ним. В каждом слове Столыпина выражалась искренность, нравственная порядочность и воля; такое впечатление он производил на всех; мои и других моих сослуживцев наблюдения заставляли нас, однако, признавать, что по силе и, главное, гибкости ума, он, быть может, уступал некоторым нашим крупным деятелям, например, Витте, но отсюда еще весьма и весьма далеко до такой характеристики Столыпина, которую ему дал Витте в своих мемуарах, характеристике, унизившей зря автора мемуаров, а не того, кого он хотел унижить из явного чувства какой-то мелкой ревнивой зависти. Тем не менее, заговорив об этих мемуарах, я не могу удержаться от совета всем, кто заинтересовался бы дальневосточным вопросом, прочесть посвященные ему, глубоко государственные соображения Витте.

Я ушел от Столыпина, окрыленный надеждами на успех наших начинаний на Дальнем востоке. Эти надежды мне были тем более дороги, что в нашем ведомстве и в канцелярии дальневосточного совещания Л. 284. я встретил не то отношение к нашей работе, на которое мог рассчитывать. Г.В. Глинка был завален текущими переселенческими делами, его внимание не могло быть сосредоточено специально на делах Дальнего Востока; кроме того, думаю, большое значение в его отношениях к трудам экспедиции имели указанные мною выше особенности его, как фанатичного «мужикофила». Эти труды были для него слишком, так сказать, учены. Помню, как он возмущался нашими обследованиями животноводства. Чукаев привез в Петербург скотский навоз из различных регионов Приамурья для анализа в лаборатории и определения таким образом качества местных кормов. Глинка почти кричал на меня: «что вы делаете, как вы допускаете это безобразие; ведь все это стоит денег, ведь поймите же вы, что денежки все крестьянские, мужицкие и, вдруг, их тратят на баранье г-о». Такие сцены происходили и по поводу некоторых других наших изысканий. Печатные труды было поручено читать некоторым сотрудникам Глинки. Резкие отзывы о неправильной постановке дела на приисках Государя Императора и т. п., в особенности мои соображения по еврейскому вопросу — все это не было понято как следует.

Что касается дальневосточного совещания, то оно не было Министерством колоний, специальным ведомством; в состав его входили чиновники, занятые другими текущими сложными вопросами, они могли уделять колонизационной работе только часть, притом небольшую, своего служебного времени. В частности, для представителей финансовых ведомств широкие предположения Амурской экспедиции были мало приятны по неизбежности производства больших расходов в случае их осуществления.

Труды экспедиции были разосланы не только в различные казенные общественные библиотеки, но и главнейшим органам печати, т. е. представлены, так сказать, и на суд общественного мнения.

Как же относилась пресса к нашей серьезной государственной работе? Во всяком случае, хуже, чем правительственные круги; из последних все-таки многие заинтересовались некоторыми из возбужденных нами вопросов, заметная часть их, как упоминалось мною выше, с некоторыми трениями, получила все-таки разрешение, наша же пресса, в лучшем случае, попросту замалчивала в общем работы экспедиции, в худшем — гнала, кроме, конечно, Л. 285. дальневосточной печати, которой близки были нужды края. Такой серьезный «профессорский» орган, как «Русские ведомости», только во имя оппозиции правительству, унизился до вредной лжи еще в самом начале работы экспедиции; он писал, что целью экспедиции является насаждение дворянского землевладения в Приамурье; так ученые корреспонденты понимали наши намерения дополнить крестьянскую колонизацию торгово-промышленной. Газетами было подхвачено только мое мнение о евреях; об этом писали много, правые — понося меня, левые — восхваляя. Все остальное, исключительно до великих заветов нам Николая I, Невельского и гр. Муравьева, признавалось, очевидно, второстепенным, ненужным.

Я уехал в 1911 году в Хабаровск с одной надеждой на то, что Столыпин поймет все и поможет.

По дороге в вагоне я узнал из газет о покушении на жизнь Столыпина; подъезжая к Харбину, я прочел, что опасность для его жизни миновала. В Харбине, где я остановился на день, парикмахер еврей брил меня и с большим чувством произнес: «какое несчастье, потерять такую силу как Столыпин». Я ему на это возразил, что по газетным сведениям опасности уже нет. «Ну, что же вы говорите, он уже умер!» патетически воскликнул еврей.

Надежды мои рушились. Гондатти был тоже опечален. Мы знали уже, что заместителем Столыпина будет В.Н. Коковцов. Последний по уму и честности мог бы представить гордость любого правительственного кабинета Европы. Наши гимназисты зубрили и зубрили об Аристиде, как об идеале честности хранителя государственной казны. Немногие из них, вероятно, слышали от своих наставников, что мы имеем своего Аристида — нашего современника, который за 40 или 50 лет службы, дважды занимая пост министра финансов величайшей в мире империи, на черный день имел лишь весьма скромные сбережения, да, кажется те 200 000 рублей, которые пожертвовал ему Царь за его длительную ответственную работу на пользу государства. Но наш Аристид слишком долго хранил и накапливал

государственные средства, слишком боялся их растраты и в силу многолетней привычки сделался скуп в такой мере, которая закрывала перед нами надежды на сколько-нибудь широкие колонизационные перспективы.

Я продолжал работать, но веры в успех работы было уже мало. В это же время я случайно навлек несправедливое недовольство мною главноуправляющего землеустройством А.В. Кривошеина. У него явилась мысль устройства в Приамурье казенных лесных заводов; не знаю кем именно эта мысль была внушена покойному министру, но, как говорили мне потом, он сам будто бы был инициатором указанной меры; в таком случае, приходится признать, что даже люди с очень большим практическим чутьем, каким, несомненно, обладал Коковцов, могут впадать в «маниловщину». Сущность предположения сводилась к тому, чтобы при помощи казенных лесных заводов проложить для частной лесопромышленности пути на иностранные рынки и дать переселенцам по дешевой цене срубы домов и различные их принадлежности: рамы, двери и т. п. План этот объяснялся малым знанием местных условий; в крае уже имелось несколько крупных лесных предприятий, которые экспортировали лес в Японию и Австралию, для которых казенные заводы явились бы только вредными конкурентами, а переселенцы не знали сами, как сбыть им лес своих участков, и, конечно, никаких изделий казенных заводов не стали бы покупать. В совещании по этому делу, созванном прибывшим из Петербурга вице-инспектором корпуса лесничих, таким формалистом, каким, к сожалению, по какой-то непонятной причине, является большинство наших лесных чинов, я очень резко высказался против этой лесной затеи; о том, что мы обсуждаем лишь вопрос, как осуществить приказ Министра — предупрежден я не был.

Доводы против проекта приводили, конечно, и все лесопромышленники, начавшие заваливать Петербург слезными телеграммами, в которых, по-видимому, судя по газетным сведениям, ссылались и на мое мнение.

В конце концов, я получил грозную телеграмму от Глинки, что министр предупреждает меня об увольнении меня со службы в случае, если я не буду содействовать устройству лесных заводов. Так как я не получал никаких поручений по этому делу, в технической стороне которого я ничего не понимал, то я отозвался полным непониманием данного мне приказа. Кстати сказать, через несколько месяцев Кривошеину пришлось отказаться от плана устройства казенной лесопромышленности.

Однако, я почувствовал обиду и непрочность своего положения, почему, не без огорчения, согласился на предложение Гондатти представить меня на должность вице-губернатора во Владивостоке. Назначение это, к моему счастью, не состоялось, по причинам, о которых не стоит распространяться; говорю я, «к счастью», так как мои чисто личные обстоятельства сложились так, что требовали моего присутствия в Европейской России.

Я получил продолжительный отпуск, а когда вернулся в Петербург, то был принят очень холодно А.В. Кривошеиным и как-то отчужденно Г.В. Глинкой. Тем не менее, я был назначен на высшую должность ревизора землеустройства в Западной Сибири. Это отрывало меня от дальневосточных дел, но особенного сожаления я не испытывал; фактически, со

смертью Столыпина дальневосточное совещание перестало существовать. Борьб за его восстановление я не чувствовал в себе сил: все прошлое мое, моя подготовка к службе и неуравновешенность, не давали мне умения вести упорную многолетнюю борьбу за одно какое-нибудь дело; Невельские вообще в мире, а в особенности в России — редки. Я мирился с моим новым назначением, хотя и недоумевал, почему человеку, хорошо ознакомленному с Дальним Востоком надо поручать землеустроительные дела Западной Сибири; мирился потому, что должность ревизора давала мне много времени для чтения, ему не приходилось возиться с мелкими текущими делами, а, кроме того, была сопряжена с интересными поездками по Сибири.

Однажды, ко мне на дом пришел помощник Г.В. Глинки, уже не П.Н. Яхонтов, а другой — Г.Ч., с которым я был, в сравнительно далеких отношениях. Он начал разговор на тему о том, что ожидается освобождение вакансии второго помощника Глинки, что меня обходить, конечно, не желали бы, но что, мол, имеются сведения о моем нежелании оставлять должность ревизора. Откуда исходили такие сведения меня не интересовало; мне было ясно, что меня хотят в корректной форме обойти по службе, и, чтобы вывести поскорее Ч. Из затруднительно-наивного положения, я подтвердил «имевшиеся у него сведения». На должность второго помощника начальника переселенческого управления был назначен его ближайший сотрудник и приятель Г. Я понимал, что мне в Переселенческом управлении оставаться не следует; работать, когда не пользуешься доверием, мне всегда казалось невозможным. По счастью, в то же время мой бывший сослуживец по управлению водных путей С.П. Максимов, занимавший место помощника управляющего отделом земельных улучшений (т. е. по старой терминологии вице-директорское место), сообщил мне, что управляющий Отделом князь В.И. Масальский ищет себе второго помощника — юриста, и что, если я соглашусь, он будет, вероятно, рад пригласить меня на эту должность. А.В. Кривошеин, для которого при выборах сотрудников на первом месте всегда стояли интересы дела, одобрил выбор князя Масальского, несмотря на недавнее свое недовольство мною. Так как учреждение должности второго помощника еще не было одобрено в законодательном порядке, я вновь был назначен чиновником особых поручений при министре, а затем было испрошено соизволение Государя императора на предоставление мне вице-директорских полномочий.

В Отделе Земельных Улучшений я прослужил всего около полугода. Мне пришлось, главным образом, работать над сметными предположениями, а в остальное время подписывать кучу текущих мелких бумажек и ассигновок, чем я разгрузил для серьезной работы кн. Масальского. С последним у меня сразу же установились хорошие, корректные отношения; Масальский был довольно редким явлением на службе: не по примеру большинства поляков-чиновников, вел дело безупречно честно, был искренно предан ему. Дело было громадное по экономическому его значению и быстро, сравнительно, развивалось в тесном сотрудничестве с земствами; последние на мелиоративные работы получали от нашего отдела, кроме

инструкторов, денежные пособия по такому разумному расчету: сколько ассигновало земство, столько и мы.

По какой-то странности судьбы, в Отделе Земельных Улучшений я вновь ненадолго встретился с законопроектом о пользовании силой паде-ния воды, накануне внесения его в Государственную Думу, увы, перед нача-лом уже великой войны. Я слишком недолго прослужил в отделе земельных улучшений, чтобы завязать более или менее близкие связи с его личным составом. Могу сказать одно, Л. 289. что и здесь я встретил обычный тип добросовестного, а частью и талантливого русского чиновника и инже-нера. Кроме выдающегося по своей научной подготовке С.П. Максимова, отмечу такого специалиста по водному праву, как Д.С. Флексор; некреще-ный еврей, он своей работой в молодые годы достиг чина действительного статского советника и был прекрасный товарищ; одним из отделений ве-дал, перешедший со мною, мой бывший помощник по дальневосточному отделению Е.Е. Ковалевский, культурный во всех отношениях человек.

Отдел Земельных Улучшений был последним этапом моей мирной гражданской службы.

\* \* \*

Мысленно я проследил различные периоды моей государственной служ-бы. В моей памяти воскресал ряд близких, дорогих мне лиц, порою тяже-лых по характеру, но всегда честных и горячо любящих родину деятелей, ряд пережитых деловых достижений, волнений и неприятностей.

Теперь можно уже подвести итоги всему описанному и подойти, к ис-полнению намерения быть совершенно искренним и правдивым, к само-му тяжелому для моего нравственного «я» моменту, той смуты в душе, ко-торая заставляет меня признать себя так же виновным в происшедшем в России государственном перевороте — по первоначальному сочувствию этому событию, как виновно в нем в той или иной степени, активно или пассивно, громадное большинство русской интеллигенции.

Сделанный мною обзор сравнительно небольшой части государствен-ной работы, выполнявшейся в царствование Императора Николая II, той части, в которой мне пришлось принимать непосредственное участие, устанавливает с бесспорностью систематический, упорный ход вперед, как было и при предшественниках Николая II, подчинения частно-классовых интересов общегосударственным. В сущности, если глубже вдуматься в пережитый нами период истории, если отбросить различные споры, воз-никавшие на почве частных и личных самолюбий, то русское общество, принимавшее участие в политической жизни страны, делилось на два ла-герь: один, стоявший на точке зрения мирного прогресса, эволюции; дру-гой — утопически — революционный, для которого всякие государствен-ные улучшения являлись лишь средством социального переворота.

Реальный, неутопический лагерь резко враждовал внутри себя, рас-ходясь в вопросах о сроках и способах эволюции; одни горячились, торо-пились, другие боялись катастрофы при слишком быстром ходе машины прогресса.



Эти раздоры, главным образом, не по содержанию их, не по существу дела, а по тактическим приемам борьбы, по антигосударственности этих приемов, привели к тому, что правительство и русское общество прозева-ли опасность великого разрушения государства фанатиками социализма; в той же сфере жизни, которой посвящены мои записки, раздоры сделали то, что для мало-мальски либерального человека считалось дурным тоном глу-боко интересоваться, а тем более одобрять что-либо из делаемого казен-ными руками, правительственными органами. Так как критиковать всегда легче, чем творить, то весьма средние по способностям и знаниям земские деятели, адвокаты, профессора и т. п. пользовались в обществе незаслу-женной популярностью, на них возлагались преувеличенные надежды. Вот почему, в результате систематической травли нашего чиновничества прессой, общественными деятелями и частью даже самого «будирующе-го» иногда чиновничества, русское общество не сознавало каким редким по качеству и добросовестности исполнительным аппаратом, несравнен-но более совершенным, чем в государствах Западной Европы, располагал Россия; понятно, это было слишком поздно, подобно тому, как слишком поздно был оценен по достоинству офицерский состав нашей армии.

Чиновник в своей работе мог получать деловое удовлетворение толь-ко в пределах достигаемых этой работой результатов и только в пределах «своей» бюрократической среды, там, где были «мы», а не «они» — наши, всегда неблагожелательные, критики. От общества чиновник, плоть от плоти и кость от кости этого самого общества, отделялся стеной предрас-судков и тем более замыкался за этой стеной, чем несправедливее казалось ему отношение к нему общества. Либеральный состав чиновничества, видя, как неправильно забраковывается технический аппарат управления по смешению его с самой системой управления или озлоблялся и тяготел к наиболее Л. 291. консервативным кругам, или, в поисках большей попу-лярности, сам переходил в лагерь безответственных критиков. Последний выход был наиболее свойственен всем тем, кто имел основания считать себя обиженным, обойденным, не достигшим почему-либо поставленных целей. Такова была судьба не только слабых духом людей; пример — Витте. Критика самими чиновниками правительственного аппарата еще более, конечно, подрывала веру общества в его деловые качества.

Лично я, оскорбленный в своем служебном самолюбии и деловых пла-нах, не перешел на сторону активных врагов правительства, но испыты-вал большое душевное разочарование, видя перед собою только, с одной стороны, относительно бездарные враждебные силы, а с другой стороны, недостаточную, как мне казалось, активность правительства, при всех дан-ных у него понимать широкие государственно-общественные задачи. Это, в связи с рядом последующих неудачных, с моей точки зрения, шагов пра-вительства во время великой войны, подготовило во мне настроение или убеждение, заставлявшее желать политического переворота, как надежды на нечто лучшее.

Когда я задумываюсь над этой, постигшей меня уже в зрелом возрас-те, душевной смутой, я сознаю, что корни ее таятся не в последних годах,

а в обстановке первых сознательных лет моей жизни: в том воспитании и образовании, которое получала большая часть нашей интеллигенции; оно было крайне односторонне, умягчало души, создавало честных людей, но не закаляло сердца для борьбы, не сделало нас выносливыми в борьбе; оно было слишком односторонне, романтично и мало реалистично.

Вместо того, чтобы скромно и настойчиво продолжать свою работу по тому делу, которое я изучил и которое достаточно показало, что, хотя и с затруднениями, несмотря на мое относительно скромное служебное положение, можно достигать больших результатов и, быть может, по примеру дальневосточного совещания, добиться создания специального ведомства колоний, т. е. внести свою полезную крупицу в дело государственного устройства России, предпочел будировать, т. е. пошел по проторенному легкому, не трудовому пути нашей оппозиционной общественности.

Это должно было, смутив мою душу, привести неизбежно меня, как большинство неустойчивой русской интеллигенции, к ложным шагам и настроениям, о которых я буду говорить ниже, при воспоминаниях моих о нашем смутном времени.